
Александра Адаменко
Юрий Адаменко
ВЕСЕРИ-СИТИ
Счета
ВЕСЕРИ-СИТСКИЙ ВЕСТНИК
ДАНИЭЛЬ АСТОР РАСКРЫЛ ЕЩЁ ОДНО МАГИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Тени соляного переулка
Астор и Гласс

Александра Адаменко

Астор и Гласс. Тени соляного переулка

«Автор»
2026

Адаменко А.

Астор и Гласс. Тени соляного переулка / А. Адаменко — «Автор», 2026

Говорят, у каждого города есть душа. У Весери-Сити ещё и очень хорошая память.Здесь соль хранит голоса прошлого, а розовая дымка окутывает улицы так, словно город старательно прячет что-то от любопытных глаз. Впрочем, прятать ему есть что.Корнелия Гласс приехала в Весери-Сити не за приключениями. Ей нужна работа, желательно с приличными условиями и начальником, который не считает себя подарком судьбы.С последним, похоже, не повезло.Даниэль Астор — аристократ, сыщик и обладатель редкого дара. Он уверен в своём таланте, безупречном чутье и исключительных способностях к расследованиям. Корнелия же быстро обнаруживает, что между гениальным сыщиком и человеком, который просто очень любит рассуждать о собственной гениальности, иногда бывает удивительно мало различий.У самой мисс Гласс магического дара нет. Зато она замечает детали, умеет сопоставлять факты и не склонна верить красивым объяснениям. Как выясняется, для хорошего расследования это порой полезнее любой магии.

© Адаменко А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 20
Глава 3 34
Глава 4 47
Глава 5 61
Конец ознакомительного фрагмента. 69

Александра Адаменко
Астор и Гласс. Тени соляного переулка

Глава 1

Секретарь, умеющий считать

1

В то утро у меня оставалось четыре сольда и семнадцать медяков, и я пересчитала их трижды, прежде чем встать с кровати.

Это не было жадностью. Это была привычка. Есть люди, которые по утрам молятся, есть люди, которые по утрам смотрят в окно и решают, какая сегодня погода, а я по утрам считаю. Цифры успокаивают меня лучше молитв и честнее погоды. Погода в Весери-Сити врёт постоянно: с утра обещает ясность, к полудню натягивает с гор холодный ветер, а к закату со дна каньона поднимается розовая мга и глушит всё, включая обещания. Цифры не врут никогда. Четыре сольда и семнадцать медяков — это четыре сольда и семнадцать медяков, как ни переворачивай кошелёк.

Комната, которую я снимала третий год, располагалась под самой крышей узкого дома в переулке Ткачей, на среднем ярусе. Средний ярус — это место, где город перестаёт быть красивым, но ещё не начинает быть страшным. Наверху, на верхних террасах, живут те, кому принадлежат потоки тепла и света. Внизу, у реки, живут те, кто эти потоки добывает. А посередине живём мы: конторщики, швеи, мелкие торговцы, гувернантки без места и одна девица из хорошей семьи, которая однажды решила, что хорошая семья ей не нужна.

Я до сих пор не уверена, что это было разумное решение. Но это было моё решение, и я платила за него каждый месяц — восемь сольдов за комнату, вперёд.

Я села на кровати и посмотрела на стену напротив. На стене висел листок с моими расчётами, приколотый портновской булавкой. Аренда — восемь. Хлеб, сыр, иногда рыба — около трёх в неделю. Свечи — полсольда. Мыло. Чернила. Проезд на фуникулёре, если без него нельзя. Холодный настой горной мяты — две крупицы за пакетик у старухи на углу. Внизу листка красным карандашом было написано: «Работа. Срочно». Это я написала месяц назад, когда меня уволили из красильной мастерской господина Тиля.

Уволили меня, если быть точной, за то, что я хорошо работала.

Господин Тиль нанял меня вести счета, потому что прежний счетовод уехал к сестре на нижний ярус и не вернулся. Я вела счета полгода. На четвёртый месяц я заметила, что мастерская покупает втрое больше квасцов, чем расходует, а лишние квасцы куда-то исчезают, как исчезают и деньги, отложенные на налог в городскую казну. На пятый месяц я поняла, куда. На шестой месяц я положила господину Тилю на стол аккуратную таблицу, из которой это было видно, и предложила исправить отчёт, пока налоговый инспектор не сделал этого сам. Господин Тиль поблагодарил меня, выплатил жалованье за неделю вперёд и попросил больше не приходить. Через две недели налоговый инспектор пришёл сам. Мастерскую опечатали. Мою таблицу, насколько я знаю, изъяли как доказательство. Меня никто ни о чём не спросил.

С тех пор я поняла одну вещь о Весери-Сити. Здесь ценят людей, которые умеют считать, но только до тех пор, пока они считают в пользу того, кто платит.

Я встала, умылась ледяной водой из кувшина — тепло в наш дом подавали по расписанию, и утреннее расписание начиналось через час после того, как я обычно уже выходила, — и надела своё единственное приличное платье. Серое, шерстяное, с белым воротничком, который я сама перешила из старой нижней юбки. В платье я выглядела как гувернантка, у которой

умер наниматель. Это было лучше, чем выглядеть как дочь советника, у которой умерло всё остальное.

Очки я протёрла краем рукава. Волосы заплела и уложила так туго, что заломило виски. Строгая причёска — это доспехи. Мать говорила, что приличная девушка должна выглядеть так, будто ей ничего не нужно. Я выглядела так, будто мне нужна работа и я готова за неё драться. Но аккуратно.

Внизу, на кухне, хозяйка дома, вдова Хобб, уже грела на углях вчерашний чайник и читала вчерашнюю газету. Вдова Хобб была прачкой и считала себя знатоком городской жизни, потому что через её руки проходили рубашки половины квартала, а рубашки, по её словам, рассказывают о людях больше, чем лица.

— Опять ни свет ни заря, — сказала она, не поднимая глаз. — Вы бы поели, госпожа Гласс. На голодный желудок места не дают.

— Мне не дают места и на сытый, — ответила я. — Можно взглянуть на сегодняшний вестник, когда вы закончите со вчерашним?

Она хмыкнула и пододвинула ко мне свежий номер, ещё пахнущий типографской краской. «Весерский вестник» стоил полмедяка, и вдова Хобб покупала его каждый день, а потом складывала стопкой у очага на растопку. Я читала его бесплатно, и мы обе делали вид, что это одолжение с её стороны, а не с моей: я иногда объясняла ей, что значат цифры в разделе о ценах на соль.

Я развернула газету на столе, отодвинув миску с остывшей кашей. Первая полоса была посвящена Совету Потоков: очередное заседание, очередной спор о бюджете городского инженерного бюро, очередная фотография советников в мантиях. Среди советников я машинально нашла знакомое лицо. Советник Арчибальд Гласс стоял третьим слева, прямой, сухой, в очках, точь-в-точь как мои. Я перевернула страницу быстрее, чем следовало.

Вторая полоса — цены. Соль верхней очистки подорожала на два сольда за меру. Это означало, что через неделю подорожает хлеб: пекари топили печи потоками, а потоки зависели от соли. Я отметила это в уме.

Третья полоса — объявления. Требовались: прачка в дом на верхней террасе (только с рекомендациями), подмастерье в лавку канатов (только мальчики), сиделка к больному старику (только с крепкими нервами), гувернантка для двух девочек (только из хорошей семьи, с рекомендациями от прежних нанимателей). У меня была хорошая семья, но рекомендаций от неё ждать не приходилось. Последний раз отец рекомендовал меня кому-то, когда мне было шестнадцать, и это была рекомендация целителю, который должен был найти во мне хоть какой-нибудь дар.

Не нашёл.

На четвёртой полосе печатали городские происшествия и то, что редакция называла «очерками нравов». И здесь, в правом верхнем углу, под рисунком лупы и стилизованного соляного кристалла, шла колонка, которую в городе знал, кажется, каждый: «Подвиги сыщика Даниэля Астора». Автор подписывался скромно — «Ф. М.».

Я не собиралась её читать. Я собиралась перейти к частным объявлениям в нижней части полосы. Но взгляд зацепился за первую фразу, а у меня есть слабость: если в тексте есть ошибка, я не могу пройти мимо, как другие не могут пройти мимо криво висящей картины.

Первая фраза гласила: «Ещё одно таинственное дело было раскрыто вчера блестящим умом нашего знаменитого сыщика, мистера Даниэля Астора, обладающего редким даром слышать тайны камня».

Ошибок в ней не было, только лишние прилагательные. Я читала дальше.

Колонка рассказывала, как в шляпной лавке на среднем ярусе каждую ночь кто-то переставлял шляпы, а хозяйка была уверена, что в лавке поселился дух её покойного мужа, тоже шляпника. Мистер Астор, писал Ф. М., «приложил ладонь к стене и, услышав шёпот минувших

ночей, объявил, что никакого духа в лавке нет». Виновником оказался племянник хозяйки, который по ночам примерял шляпы, потому что мечтал стать актёром, а на сцену его не брали из-за слишком маленькой головы.

История была милой. Ошибок в ней я насчитала три.

Первая: Ф. М. писал, что лавка находится «на улице Шёлковой, близ станции фуникулёра № 4». Станция № 4 находится на улице Ременной, а Шёлковая отходит от станции № 6. Я это знала, потому что на улице Шёлковой когда-то жила моя учительница музыки.

Вторая: по словам Ф. М., племянник «тайно проникал в лавку через окно второго этажа». Чуть ниже в той же колонке сообщалось, что лавка одноэтажная, «ютится под скалой, как ласточкино гнездо».

Третья ошибка была самой интересной. Ф. М. писал, что мистер Астор раскрыл дело «за один вечер, не выходя из лавки». Но в начале колонки говорилось, что хозяйка обратилась к сыщику «во вторник утром», а развязка наступила «в четверг, в предрассветный час». Между вторником и четвергом — не один вечер. Кто-то либо не умел считать дни, либо очень хотел, чтобы его герой выглядел быстрее, чем был.

Был ещё глагол «прошелестел», употреблённый о шляпе. Такого глагола в отношении шляп, насколько я знала, не существует, но я решила, что это не ошибка, а стиль, и простила его.

— Опять этот ваш сыщик? — спросила вдова Хобб, заглядывая мне через плечо. — Хороший мальчик. Красивый, говорят. И бедный, как церковная мышь. Мне его рубашки раз носила одна девица с верхнего яруса. Манжеты вечно в чернилах, а ворот целый, без латок. Значит, рубашек мало, но он их бережёт.

— Я не читала, — сказала я. — Я искала объявления.

— Ну-ну, — сказала вдова Хобб и вернулась к чайнику.

Я опустила глаза ниже колонки. Частные объявления шли мелким шрифтом, тесно, одно под другим: продаётся пианино без двух клавиш, ищу попутчиков для поездки к соляным источникам, утерян медальон с портретом, вознаграждение гарантировано. И прямо под колонкой «Подвиги сыщика Даниэля Астора», так близко, что казалось частью её, стояло короткое объявление в рамке:

«Агентству требуется секретарь, умеющий считать. Жалованье по договорённости. Обращаться лично: улица Соляных Ветров, дом 9, чердак. Спросить мистера Астора. В стену не стучать».

Я перечитала его дважды.

Первое, что я отметила, — «жалованье по договорённости». Это значило, что денег у агентства нет или почти нет. Люди, у которых есть деньги, пишут сумму, потому что сумма привлекает. Люди, у которых денег нет, пишут «по договорённости» и надеются, что договорятся.

Второе — «умеющий считать». Не «грамотный», не «с хорошим почерком», не «с рекомендациями». Просто — умеющий считать. Кто-то в этом агентстве очень нуждался в человеке, который умеет считать, и при этом не стыдился в этом признаться. Это мне понравилось.

Третье — «в стену не стучать». Это я не поняла вовсе и решила, что разберусь на месте.

Улица Соляных Ветров находилась на верхнем ярусе, у самого края. Туда я не поднималась три года. Я посмотрела на свой листок с расчётами, приколотый к стене наверху, мысленно, и посчитала: фуникулёр до верхнего яруса стоил шесть медяков в одну сторону. Пешком по канатным лестницам и вырубленным в скале ступеням — бесплатно, но около часа подъёма и испорченные туфли. Туфли стоили дороже шести медяков.

Если я поеду, у меня останется четыре сольда и пять медяков, если поеду в обе стороны. Это одиннадцать дней жизни. Двенадцать, если отказаться от мяты.

От мяты я отказываться не собиралась.

— Вдова Хобб, — сказала я, — вы позволите вырезать объявление?

— Из моей газеты? — Она подозрительно прищурилась. — Это которое?

Я показала. Вдова Хобб наклонилась, пошевелила губами, читая.

— Секретарь, — сказала она. — У сыщика. Госпожа Гласс, вы девица из приличных, вам бы гувернанткой.

— Для гувернантки нужны рекомендации, — сказала я. — А для секретаря у сыщика, судя по всему, нужно только уметь считать.

Вдова Хобб посмотрела на меня долгим взглядом, каким смотрела на рубашку с пятном неизвестного происхождения, и протянула мне ножницы.

Я вырезала объявление аккуратно, по рамке, стараясь не задеть колонку над ним. Колонка всё равно пострадала: от последнего абзаца, где Ф. М. восхвалял «непревзойдённую интуицию мистера Астора», остался кусок со словами «непревзойдённую инту». Я сложила вырезку вдвое и убрала в кошелёк, к четырём сольдам и семнадцати медякам.

Потом подумала, достала её снова и положила в карман платья. Если меня ограбят на станции, я лишусь денег, но не адреса.

На улице было холодно и прозрачно. Утро в Весери-Сити всегда прозрачное: ночная мга уходит обратно в каньон, к реке, и до полудня город стоит чистый, как вымытое стекло. С края нашего переулка был виден весь средний ярус — уступы крыш из соляной корки, матовое зелёное стекло мансард, натянутые над пропастью канаты фуникулёров, по которым уже ползли первые кабины. Медузы в подвесных фонарях к утру тускнели и висели в своих сферах вялыми бледными цветами. Фонарщик с длинным шестом обходил улицу и поворачивал сферы так, чтобы медузы не видели солнца: от солнца они болеют. Ниже, далеко внизу, на самом дне каньона, светилась река Весер — тяжёлая, зеленоватая, похожая на расплавленное стекло. Даже днём она светилась. Говорят, кто родился у реки, потом всю жизнь не может спать в полной темноте.

Я родилась наверху. Я спала в полной темноте прекрасно.

Станция фуникулёра № 6 находилась в десяти минутах ходьбы. Я шла быстро, считая шаги, — четыреста двенадцать до станции, если не обходить лужи, и четыреста тридцать, если обходить, — и думала о том, что скажу. Мне двадцать пять лет. Я умею вести бухгалтерские книги, составлять таблицы, писать деловые письма на трёх языках, если считать язык Совета Потоков отдельным языком. Я знаю, как устроены налоги, соляные пошлины и расписания фуникулёров. Я не боюсь цифр, крыс и чиновников. У меня нет рекомендаций. У меня нет дара.

Последнее я решила не упоминать. В Весери-Сити это не принято упоминать, как не принято упоминать отсутствие руки или глаза. Об этом просто молчат, и все делают вид, что не заметили.

На станции я отдала кассиру шесть медяков и получила медный жетон с выбитой цифрой. Кабина подошла через четыре минуты — по расписанию её ждали через три, и я отметила опоздание. Я села у окна. Напротив сидел пожилой господин в котелке, читавший тот же номер «Весерского вестника», и на четвёртой полосе, там, где у меня теперь была дыра, у него была колонка о шляпной лавке.

Он дочитал, покачал головой и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Гений. Чистый гений. Слышит камень, подумать только.

Кабина дёрнулась и поплыла вверх, над пропастью, к верхним террасам, к улице Соляных Ветров, к чердаку, в стену которого почему-то нельзя было стучать.

Я сжала в кармане вырезку и подумала, что гений, который за один вечер раскрывает дело, длившееся три дня, — это, возможно, не совсем гений. Возможно, это просто человек, которому нужен кто-то, кто умеет считать.

Тогда я ещё не знала, насколько была права. И насколько ошибалась.

2

Фуникулёр высадил меня на станции «Верхняя Терраса», и первое, что я почувствовала, выйдя из кабины, был запах. Наверху пахнет иначе. Внизу, у реки, пахнет йодом, рыбой и мокрым камнем. На среднем ярусе — дымом, щёлоком и людьми. А наверху пахнет ветром. Сухим, холодным, горным, с привкусом соли на губах и чего-то ещё, чему я в детстве не знала названия, а потом поняла: так пахнут деньги, которые не нужно считать.

Три года я сюда не поднималась. Я думала, что, вернувшись, почувствую что-нибудь значительное — тоску, гнев, хотя бы стыд. Но почувствовала только, что туфли мне жмут, а ветер задувает под воротник. Видимо, значительные чувства тоже требуют денег, и у меня на них не хватило.

Я спросила у станционного служителя дорогу на улицу Соляных Ветров. Он посмотрел на моё серое платье, потом на мои туфли, потом снова на платье — и решил, судя по лицу, что я иду наниматься в прислугу.

— Это на самом краю, барышня, — сказал он. — Фуникулёр туда не ходит. Пройдёте по Хрустальной до конца, свернёте у часовни Первого Камня, а дальше по лестнице. Там увидите. Только держитесь за поручень, там ветер.

«Там ветер» было преуменьшением, достойным Совета Потоков.

Хрустальная улица оказалась именно такой, какой я её помнила: широкая, мощённая светлым пористым камнем, с домами, у которых окна были больше, чем мои комната и кухня вдовы Хобб вместе взятые. На балконах цвели горные лилии в кадках. У подъездов дежурили лакеи в серых ливреях. Механический экипаж на пружинном ходу проплыл мимо меня, мягко подпрыгивая на резиновых колёсах, и я узнала на дверце герб — три соляных кристалла под короной. Герб семьи Вальдемар. Их младшая дочь училась со мной у одного учителя музыки. Я отвернулась к витрине кондитерской раньше, чем успела подумать, зачем.

В витрине кондитерской лежали пирожные с соляной карамелью по полтора сольда за штуку. Я посчитала: за одно такое пирожное я могла бы прожить полтора дня. Я посмотрела на него ещё немного, отдавая должное его красоте, и пошла дальше.

Часовня Первого Камня стояла в конце улицы, приземистая и старая, сложенная из грубых соляных блоков, которые за двести лет стали почти прозрачными. Говорят, это первое здание, построенное в Весери-Сити, — ещё до мэра Венна, до фуникулёров, до потоков. Говорят, если прижать ухо к её стене, услышишь, как пели строители. Я никогда не пробовала. Мне было бы нечего услышать.

За часовней Хрустальная улица кончалась, а вместе с ней кончался и приличный верхний ярус. Дальше начиналась лестница.

Лестница была вырублена прямо в скале и уходила вверх, к самому гребню каньона, где на последнем уступе, на самом краю, лепились друг к другу старые дома. Сбоку вместо перил был натянут толстый канат, отполированный ладонями до блеска. Ступени были узкие, неровные, местами выщербленные. Справа — скала. Слева — ничего. Совсем ничего, только воздух, далеко внизу — крыши среднего яруса, ещё ниже — смутная полоса нижнего, а на самом дне — зелёное свечение реки.

Я взялась за канат и начала считать.

Сто сорок семь ступеней. На сорок второй ветер сорвал с меня шляпку, и я поймала её у самой пропасти, не успев испугаться. На девяносто третьей я остановилась перевести дух и увидела, что по лестнице мне навстречу спускается мальчишка лет двенадцати, босой, с мотком верёвки через плечо. Он не держался за канат. Он шёл по самому краю ступеней, приплясывая, будто по мостовой.

— Барышня, вам помочь? — спросил он, поравнявшись со мной. — За медяк донесу вас до самого верха. Ну, не вас. Вашу шляпку.

— Спасибо, я справлюсь.

— Как знаете. — Он пожал плечами. — А вы к кому?

— К мистеру Астору.

Мальчишка присвистнул.

— Наниматься? — спросил он. — Или по делу?

— Наниматься.

— Тогда удачи, — сказал он с искренним сочувствием. — Последняя не продержалась и дня. Сказала, что он сумасшедший. Но вы не верьте. Он не сумасшедший. Он просто слышит.

— Что слышит?

Но мальчишка уже скакал вниз, через две ступени, и только махнул рукой, не оборачиваясь.

Я дошла до сто сорок седьмой ступени с больными ногами и стойким убеждением, что любой, кто открывает контору в таком месте, либо очень беден, либо очень не хочет клиентов. Возможно, и то и другое.

Улица Соляных Ветров была короткой — всего одиннадцать домов, — и все они стояли так близко к краю, что казалось, будто их держит на месте только привычка. Дома были старые, из пористого камня, посеревшего от времени и ветра. Крыши из соляной корки потрескались и местами были залатаны жестью. Между домами были натянуты верёвки с бельём, и бельё хлопало на ветру, как флаги осаждённой крепости. Название улица оправдывала полностью: ветер здесь дул непрерывно, со всех сторон сразу, и пах солью так сильно, что у меня защипало в глазах.

Дом номер девять был предпоследним. Четырёхэтажный, узкий, с зелёными ставнями, выкрашенными, видимо, ещё при первом мэре. У двери висела медная табличка, начищенная до блеска, — единственная вещь на всей улице, которую кто-то регулярно чистил. На табличке было выгравировано: «Ориель Пэк. Комнаты внаём. Без животных, без музыкальных инструментов, без политики».

Ниже, на клочке картона, прибитом гвоздиком, было написано от руки другим почерком — размашистым, с наклоном и кляксой на конце: «Агентство Астор. Частный сыск. Чердак».

Я постучала.

Дверь открылась так быстро, будто за ней ждали. На пороге стояла женщина лет шестидесяти, высокая, прямая, в лиловом шёлковом халате, расшитом драконами, и в тюрбане того же цвета. Лицо у неё было из тех, что когда-то называли незабываемыми: крупный нос, тёмные подведённые глаза, рот, привыкший улыбаться публике. В руке она держала мундштук без папиросы.

Она оглядела меня с головы до ног — медленно, профессионально, как оглядывают актрису, пришедшую на пробы. Задержалась на воротничке. Задержалась на туфлях. Задержалась на очках.

— По объявлению, — сказала она. Это был не вопрос.

— По объявлению, — подтвердила я. — Меня зовут Корнелия Гласс.

— Гласс, — повторила она, будто пробуя имя на вкус. — Хорошая фамилия. Звонкая. Как разбитый бокал. Я мадам Пэк, хозяйка этого дома. Тридцать лет на сцене «Зеркальной террасы», пока колени не сказали мне, что пора. Вы держите спину лучше, чем девица, которая приходила на прошлой неделе. Та сутулилась. Сутулые здесь не выживают.

— Здесь — это у мистера Астора?

— Здесь — это на этой улице. — Мадам Пэк посторонилась, пропуская меня в прихожую. — У мистера Астора не выживает никто. Но вы проходите, проходите. Чердак наверху. Четыре этажа. Лестница скрипит на седьмой, двенадцатой и тридцатой ступени, на них не наступайте: он не любит, когда скрипит.

— Он слышит лестницу?

— Он слышит всё, — сказала мадам Пэк и вдруг посмотрела на меня серьёзно, без всякой сценической игры. — Вы должны кое-что знать, милая, прежде чем подниметесь. Он не опасен. Я говорю это всем, кто к нему идёт, потому что некоторые пугаются. Он не опасен. Он просто разговаривает со стенами.

— Со стенами, — повторила я.

— И стены, кажется, ему отвечают. — Мадам Пэк пожала плечами, и драконы на её халате шевельнулись. — Я сдаю ему чердак четыре года. За четыре года он ни разу не задержал плату больше чем на месяц. Ну, почти ни разу. Он вежлив, не пьёт, не водит женщин и не играет на музыкальных инструментах. Иногда он кричит по ночам. Но тихо.

— Кричит тихо?

— Вы поймёте, — сказала мадам Пэк. — Или не поймёте. Это уж как повезёт. Ступайте. И не стучите в стену.

Я начала подниматься.

Лестница в доме мадам Пэк была узкая, крутая и тёмная. Она вилась внутри дома, как раковина улитки, и с каждым этажом становилась всё уже. На стенах висели театральные афиши в рамах — пожелтевшие, с выцветшими буквами: «Ориель Пэк в роли Королевы Соли», «Ориель Пэк — Дама в зелёном», «Последний выход Ориель Пэк». Я считала ступени. На седьмой, как и обещали, под ногой жалобно скрипнуло, хотя я наступила на самый край. На двенадцатой я переступила. На тридцатой — тоже. Всего ступеней было девяносто шесть, и последние двадцать вели уже не по лестничной клетке, а по деревянной стремянке, приставленной к люку в потолке.

Люк был открыт. Из него тянуло холодом и запахом, который я не сразу узнала: горький, густой, землистый, похожий одновременно на жжёный сахар и на мокрую кору. Позже я узнаю, что так пахнет настой обжаренных речных кореньев, который в Весери-Сити называют кофе и который пьют только рыбаки, студенты и люди, которым больше нечем согреться. Мистер Астор пил его литрами. Но тогда я этого ещё не знала и подумала, что наверху что-то горит.

Я поднялась по стремянке и выбралась на чердак.

Первое, что я заметила, — холод. На чердаке было холоднее, чем на улице: здесь не было ветра, но не было и тепла, а каменные стены, казалось, вытягивали из воздуха последние остатки тепла и прятали их куда-то в свою толщу. Вдоль одной стены шли трубы потоков — тёплые трубы, по которым в дома верхнего яруса подаётся тепло из глубин каньона. Я приложила к ним ладонь. Трубы были ледяные.

Второе, что я заметила, — бумага. Бумага была везде. На письменном столе у окна она лежала стопками, перевязанными бечёвкой, и стопками, ничем не перевязанными. На полу у стола она лежала просто так, веером, как будто кто-то бросил её и забыл. На подоконнике — свёрнутые трубкой газеты. На продавленном диване у стены — исписанные листы, какие-то карты, рисунки. Я наклонилась и подняла ближайший лист. Это был счёт. Ниже лежал ещё один счёт. И ещё. Счёт от угольщика. Счёт от прачки. Счёт от конторы городских потоков — за тепло за три месяца, с пометкой красными чернилами «Подача прекращена до полной уплаты». Я подняла ещё несколько и быстро сложила в уме. Получилось сорок шесть сольдов и девять медяков долга. Если считать проценты конторы потоков — сорок девять.

Я положила счета на место. Аккуратно, стопкой.

Третье, что я заметила, — окно. Окно было большое, круглое, из матового зеленоватого стекла в свинцовом переплёте, и выходило прямо на каньон. Через него было видно всё: противоположную стену каньона с её террасами, канаты фуникулёров, тонкие, как паутина, и далеко внизу — светящуюся реку. Одна створка окна была приоткрыта на ладонь и, судя по всему, застряла: кто-то подложил под неё свёрнутую газету, чтобы она не хлопала на ветру. Через щель доносился гул — низкий, ровный, механический. Фуникулёры. Станция № 7 находилась прямо под нами, на уступе ниже, и я слышала, как тросы поют на блоках.

Четвёртое, что я заметила, — его самого.

Точнее, сначала я заметила ноги. Ноги в стоптанных ботинках торчали из-за дивана. Потом, обойдя диван, я увидела всё остальное: человек лежал на полу, на спине, раскинув руки, прижавшись ухом к доскам. Глаза у него были закрыты. На нём был длинный светлый плащ из плотной ткани, какие носят на верхних ярусах от соли, — когда-то, видимо, дорогой, а теперь потёртый на локтях, — и манжеты рубашки, выглядывавшие из рукавов, были испачканы в чернилах. Тёмные волосы стояли дыбом, будто он долго ерошил их руками. Подбородок покрывала щетина недельной давности.

Я подумала, что он мёртв. Потом подумала, что он пьян. Потом увидела, что губы у него шевелятся, будто он что-то повторяет про себя.

— Простите, — сказала я.

— Тише, — сказал он, не открывая глаз. — Вы стучите.

— Я не стучу. Я стою.

— Каблуками. Вы стучите каблуками. Третий этаж слушает, а вы стучите. — Он помолчал. — Подождите. Ещё секунду. Она сейчас... Нет. Ушла. — Он открыл глаза и посмотрел на меня снизу вверх. Глаза у него были серые, но не светлые, как мои, а тёмные, грозовые, такого цвета бывает небо над каньоном перед тем, как сорвётся ливень. — Вы её спугнули.

— Кого?

— Мышь, — сказал он серьёзно. — На третьем этаже, в комнате господина Лоури, живёт мышь. Она приходит каждое утро в одно и то же время и грызёт его тапочки. Господин Лоури уверен, что это призрак его покойной тёщи. Я хотел убедиться.

— И что?

— Это мышь. — Он сел, отряхнул плащ, поморщился, потёр переносицу двумя пальцами. — Но господин Лоури мне всё равно не поверит. Призрак тёщи ему почему-то милее. Люди вообще предпочитают призраков мышам, вы замечали? Призрак — это значительно. Мышь — это просто мышь.

Он поднялся на ноги — оказалось, что он высокий, выше, чем я думала, когда он лежал, — и посмотрел на меня внимательнее. Взгляд задержался на моём лице, на очках, на туго уложенных волосах, на сером платье. Задержался чуть дольше, чем было вежливо. Потом он слегка нахмурился, будто прислушиваясь к чему-то, — и нахмурился сильнее.

— Вы по объявлению, — сказал он.

— Да. Корнелия Гласс.

— Даниэль Астор. — Он протянул руку, заметил на ней чернильное пятно, попытался вытереть его о плащ, сделал хуже и всё-таки протянул. Я пожала её. Рука была холодная и сухая. — Садитесь. Нет, не туда! — Он поймал меня за локоть, когда я направилась к единственному свободному от бумаг креслу у печки. — Туда нельзя. Там сидят.

Я посмотрела на кресло. В кресле никто не сидел. Кресло было старое, обитое выцветшим бархатом, с продавленным сиденьем, и на нём не было даже бумаг.

— Кто сидит? — спросила я.

Даниэль Астор открыл рот, закрыл его, снова потёр переносицу и сказал:

— Это долгая история. Садитесь на диван. Только сдвиньте счета.

Я сдвинула счета. Сорок девять сольдов, если считать проценты.

Мистер Астор сел за стол напротив, и между нами оказалась гора бумаги высотой в две ладони. Он отодвинул её в сторону, гора поползла, он поймал её, придержал локтем и так и остался сидеть — одной рукой придерживая бумаги, другой потирая висок, будто у него болела голова.

Где-то в стене за моей спиной что-то тихо щёлкнуло. Мистер Астор быстро посмотрел туда, через моё плечо, и сказал в пустоту, сквозь зубы:

— Не сейчас.

Я обернулась. За моей спиной была стена. Обычная каменная стена с трубами потоков, ледяными, как надгробие.

Я повернулась обратно. Мистер Астор смотрел на меня с выражением человека, который очень надеется, что ничего странного не произошло.

Я сложила руки на коленях и решила, что пока не буду ничего считать. Пока.

3

Собеседование мистер Астор проводил так, как, по его представлениям, проводят собеседования великие сыщики. Я поняла это не сразу, а примерно на третьем вопросе, когда он откинулся на спинку стула, сложил кончики пальцев домиком и посмотрел на меня поверх них долгим, проникающим взглядом, от которого, вероятно, должна была растаять моя скрытность.

Скрытность не растаяла. Растаяла только моя уверенность в том, что я пришла по адресу.

Первый вопрос был нормальным.

— Сколько вам лет, мисс Гласс?

— Двадцать пять.

— Где вы работали прежде?

— В красильной мастерской господина Тиля на среднем ярусе. Вела счета.

— Почему ушли?

— Меня попросили уйти.

— Почему?

— Я нашла в счетах то, чего господин Тиль не хотел, чтобы я находила.

Мистер Астор поднял брови. Кажется, это был первый ответ, который его по-настоящему заинтересовал. Но вместо того чтобы спросить, что именно я нашла, он закрыл глаза, помолчал секунд десять — я считала — и спросил:

— Скажите, мисс Гласс. Когда вы входите в комнату, что вы слышите первым?

Я подумала.

— Скрип половиц, если они скрипят. Голоса, если там кто-то разговаривает. Тиканье часов. Здесь, например, я слышу фуникулёры.

— Нет-нет, — сказал он с лёгким нетерпением, не открывая глаз. — Не ушами. Что вы слышите... внутри?

— Внутри чего?

— Внутри себя. Когда вы входите в незнакомое помещение. Какой... отклик?

Я честно попыталась понять, чего он от меня хочет. В Весери-Сити существует множество разговоров о даре, и все они ведутся особым тоном, особыми словами — «отклик», «звучание», «резонанс души». В детстве я слышала эти слова постоянно. Целители, которых приглашала мать, говорили именно так: «Каков её отклик? Она звучит? Хотя бы чуть-чуть?» Каждый раз я старалась прислушаться к себе изо всех сил. И каждый раз внутри было тихо, как в пустом колодце.

— Никакого, — сказала я. — Внутри я слышу, что хочу есть. И иногда — что мне жмут туфли. Если это считается откликом, то он у меня весьма определённый.

Мистер Астор открыл глаза. Мне показалось, что он хочет рассмеяться, но сдерживается из профессионального достоинства.

— Понимаю, — сказал он. — Хорошо. Следующий вопрос. Вы родились при высокой или при низкой воде?

— Простите?

— Прилив. Весер. В день вашего рождения река стояла высоко или низко?

— Понятия не имею. Мне никто не говорил. Это важно?

— Говорят, что рождённые при высокой воде лучше чувствуют соль, — сказал он неуверенно. — Впрочем, я не уверен, что это правда. Это говорила моя няня.

— Если хотите, я могу посчитать, — предложила я. — Мне нужна только дата и таблица приливов за тот год. Таблицы печатают в «Альманахе Весерских мореходов». Он есть в городской библиотеке.

Мистер Астор посмотрел на меня так, будто я предложила ему разобрать часовню Первого Камня, чтобы посчитать блоки.

— Не нужно, — сказал он. — Это неважно.

Он помолчал, побарабанил пальцами по столу — бумаги под его локтем снова поползли, он снова их поймал — и, видимо, решил сменить тактику. Он встал, прошёл к окну, остановился спиной ко мне, заложив руки за спину. На фоне зелёного стекла и далёкой реки его силуэт выглядел очень значительно. Я подумала, что он, наверное, долго репетировал эту позу.

— Мисс Гласс, — сказал он, не оборачиваясь. — Работа в агентстве требует особого склада ума. Мы имеем дело с тем, что скрыто. С тенями. С голосами, которые остались в камне, когда люди, их произнёсшие, ушли. Не каждый способен это вынести. Скажите мне... — Он обернулся. Медленно. — Что говорит вам эта комната?

Я огляделась.

Комната говорила мне многое. Она говорила, что её хозяин спит здесь же, на продавленном диване, потому что в углу под ворохом бумаг виднеется скатанное одеяло, а другой кровати на чердаке нет. Она говорила, что он ест нерегулярно — на подоконнике стояла тарелка с засохшей горбушкой, а рядом три пустые кружки с тёмным осадком на дне. Она говорила, что он много пишет и мало пользуется промокательной бумагой, — пятна на столе, пятна на манжетах. Что он читает газеты от корки до корки, но не выбрасывает. Что окно застряло давно, не меньше месяца, потому что газета, подложенная под створку, пожелтела и порвалась. Что когда-то у него были деньги — плащ хороший, ботинки дорогие, пусть и стоптанные, на мизинце левой руки кольцо с гербом, которое он не продал, хотя мог бы. И что денег у него сейчас нет совсем.

Но всё это показалось мне не тем, что он хочет услышать.

— Она говорит, — сказала я, — что вы должны конторе городских потоков двадцать восемь сольдов за тепло, угольщику — одиннадцать, прачке — четыре, а ещё кому-то, чей счёт лежит под вашим левым локтем, — шесть. Всего сорок девять сольдов с процентами. И что вам холодно.

Мистер Астор замер с поднятой рукой. Рука, видимо, собиралась сделать какой-то значительный жест и передумала.

— Вы прочли мои счета, — сказал он.

— Вы предложили мне сесть на них.

— Я предложил вам их сдвинуть.

— Невозможно сдвинуть счета, не посмотрев на них, — сказала я. — Простите. Это профессиональное.

Мы смотрели друг на друга. За стеной что-то снова негромко щёлкнуло — так щёлкает остывающий камень. Мистер Астор, не отрывая от меня взгляда, сказал в сторону стены:

— Я слышу. Помолчи.

Я посмотрела на стену. Потом на него. Он сделал вид, что ничего не сказал.

И в этот момент снизу, из люка, донёсся скрип. Седьмая ступень. Потом, после паузы, двенадцатая. Потом тридцатая. Кто-то поднимался по лестнице, не зная, на какие ступени нельзя наступать.

Мистер Астор мгновенно преобразился. Он одним движением сгрёб со стола половину бумаг и сунул их в ящик, другую половину смахнул на пол за стол, где их не было видно. Оправил плащ. Провёл рукой по волосам, отчего те встали ещё более дыбом. Схватил со стола лупу в медной оправе и положил её на видное место. Подумал и положил рядом с лупой череп.

Я не заметила черепа раньше. Он был небольшой, желтоватый, с аккуратной трещиной на лбу.

— Чей это? — спросила я шёпотом.

— Не знаю, — так же шёпотом ответил мистер Астор. — Купил на Красном причале за два медяка. Клиентам нравится. — И добавил, уже громко, глубоким голосом, глядя на люк: — Войдите!

Из люка показалась сначала шляпа-котелок, потом голова под ней, потом плечи в сером конторском сюртуке. Человек выбрался на чердак, отдуваясь, и остановился, держась за край люка. Ему было лет сорок пять. Невысокий, полноватый, с аккуратными бакенбардами, с лицом, которое я бы назвала добрым, если бы на нём сейчас не было написано такое отчаяние. На лацкане у него был значок страховой конторы «Весерская Надёжность» — серебряный якорь на фоне соляного кристалла.

— Мистер Астор? — спросил он, тяжело дыша. — Сыщик? Который слышит?

— Это я, — сказал мистер Астор, слегка поклонившись. — Прошу вас. Садитесь.

Человек огляделся. Единственное свободное место, кроме моего края дивана, было то самое бархатное кресло у печки. Человек шагнул к нему.

— Не туда! — одновременно сказали мы с мистером Астором.

Человек вздрогнул и остановился. Мистер Астор посмотрел на меня с удивлением. Я посмотрела на него без всякого выражения. Я сама не знала, зачем это сказала. Просто мне показалось, что если кому-то нельзя сидеть в этом кресле, то нельзя никому.

— Сюда, пожалуйста, — сказала я и подвинулась на диване.

Человек сел рядом со мной, сняв котелок и пристроив его на коленях. От него пахло лавандовой водой для бритья, конторским клеем и, едва уловимо, чернилами. Не обычными чёрными чернилами, которыми пользуются в конторах, а другими — сладковатыми, с фиалковой нотой. Фиолетовые чернила. Их варят из болотных фиалок с нижнего яруса и продают в маленьких пузырьках с притёртой пробкой. Ими пишут поздравительные открытки, приглашения на свадьбы и, если хозяйка дома аккуратна, домашние расходные книги. Моя мать вела расходную книгу фиолетовыми чернилами.

— Моя помощница, мисс Гласс, — сказал мистер Астор, кивнув на меня, хотя пятнадцать минут назад я ещё не была его помощницей и, возможно, ею до сих пор не стала. — Она будет записывать. Мисс Гласс, будьте добры, возьмите бумагу.

Я взяла со стола лист, перевернула — на обороте был счёт от прачки на четыре сольда, — и приготовилась писать карандашом, который нашла в той же стопке.

— Меня зовут Амброз Ладлоу, — сказал человек. — Я служу в «Весерской Надёжности», старший конторщик отдела страхования от пожаров. Живу на среднем ярусе, на Ременной улице, в собственном доме. С женой. Детей у нас нет, слуги — приходящая кухарка, днём. Ночью в доме только я и жена.

— Продолжайте, — сказал мистер Астор, снова сложив пальцы домиком.

— Это началось три недели назад. — Господин Ладлоу сжал котелок так, что поля смялись. — Я получаю письма. От матушки. Она живёт в Каменных Ключах, это на той стороне каньона, и пишет мне раз в неделю, по вторникам. Я храню её письма в ящике бюро, в кабинете. Ящик запирается. Ключ я ношу при себе. — Он похлопал себя по жилетному карману. — Три недели назад письмо пропало. То, что пришло во вторник. Я положил его в ящик вечером, запер, а утром его там не было. Ящик был заперт. Ключ — при мне.

— Может быть, вы ошиблись? — спросил мистер Астор. — Положили в другое место?

— Я тоже так подумал. Но через неделю пропало следующее письмо. И ещё через неделю — третье. А вчера... — Господин Ладлоу понизил голос. — Вчера первое письмо вернулось. Лежит в ящике, на своём месте, будто никуда и не пропадало. Только конверт сложен иначе.

— Иначе?

— Матушка всегда складывает конверт пополам, вдоль. А этот был сложен втрое. Поперёк.

Мистер Астор медленно кивнул, будто это подтверждало какую-то его давнюю теорию.

— И вы считаете, — сказал он, — что это сделал...

— Призрак, — тихо сказал господин Ладлоу. — Мистер Астор, я человек не суеверный. Я страхую дома от пожаров двадцать лет, я верю в цифры и в договоры. Но в этом доме до нас жил мой брат. Покойный. Мы поссорились с ним из-за наследства, давно, ещё при жизни матушки, то есть... матушка жива, я хотел сказать, при жизни отца. Брат умер, не помирившись со мной. Дом достался мне. И я думаю... — Он сглотнул. — Я думаю, это он. Он не хочет, чтобы я читал матушкины письма. Матушка всегда любила его больше.

На чердаке стало очень тихо. Даже фуникулёры за окном, кажется, на секунду перестали гудеть.

— Вы принесли письмо? — спросил мистер Астор. — То, которое вернулось?

— Принёс.

Господин Ладлоу достал из внутреннего кармана сюртука конверт и положил его на стол, на счёт от угольщика, который мистер Астор не успел убрать. Конверт был обычный, серый, почтовый, с маркой Каменных Ключей и адресом, написанным старческим, дрожащим почерком. И действительно — сложенный втрое, поперёк. Складки были свежие, чёткие, аккуратно прижатые ногтем. Женская рука. Мужчины так тщательно не складывают.

Мистер Астор взял конверт двумя пальцами. Подержал. Закрыл глаза. Лицо у него стало сосредоточенным, отрешённым, и я увидела, как у него на виске вздулась тонкая жилка.

— Я начинаю слушать, — сказал он. — Прошу полной тишины.

Господин Ладлоу затаил дыхание.

Я тоже затаила дыхание — из вежливости. Но пока мистер Астор слушал, я смотрела. На конверт в его пальцах: в левом нижнем углу, у самого сгиба, было крошечное пятнышко — не чёрное, а фиолетовое. На руки господина Ладлоу, сжимавшие котелок: на безымянном пальце правой руки — обручальное кольцо, гладкое, золотое, и на внутренней стороне кольца, там, где оно прилегало к соседнему пальцу, виднелся едва заметный фиолетовый след. Будто кто-то, у кого были испачканы пальцы, утром держал его за руку.

Я посмотрела на конверт ещё раз. На пятнышко. На складки втрое.

И вдруг поняла, что мне уже всё ясно, а мистер Астор ещё только начинает слушать.

4

Мистер Астор слушал долго.

Я видела, как он это делает, впервые, и, признаюсь, зрелище было странное. Он сидел неподвижно, с закрытыми глазами, держа конверт двумя пальцами перед собой, как держат стакан с водой, в которой может оказаться яд. Губы его чуть шевелились. Жилка на виске пульсировала. Через минуту он положил конверт на стол и прижал к нему ладонь, а другой рукой — к столешнице, будто проверял, не идёт ли сквозь дерево какой-то звук. Ещё через минуту он наклонился и приложил к столу ухо.

Господин Ладлоу смотрел на него с благоговением и ужасом одновременно. Я смотрела на часы. На чердаке было два хронометра: один — большие настенные часы в деревянном корпусе, остановившиеся, судя по всему, давно, на без четверти три; второй — маленькие карманные, лежавшие на краю стола крышкой вверх. По ним я и считала.

Прошло четыре минуты.

— Бумага, — сказал наконец мистер Астор, не поднимая головы от стола. Голос у него стал глуше. — Бумага почти не держит. Это не камень, это мёртвое дерево. Но конверт лежал в ящике, а ящик стоит у стены, и стена... Подождите.

Он поморщился. Пальцы, лежавшие на конверте, дрогнули.

— Здесь была женщина, — сказал он медленно. — Не та, что писала. Другая. Моложе. Она держала его и... плакала? Нет. Не плакала. Сердилась. Очень сердилась. И ещё... Мужской голос. Далеко. Старый. Или не старый? — Он прижал пальцы к виску. — Слишком много. Тут всё перемешано: стол, ваш котелок, улица под окном, станция... Я слышу, как кто-то торгуется на Красном причале. Это не отсюда. Это налипло к марке.

— Брат? — прошептал господин Ладлоу. — Мужской голос — это брат?

Мистер Астор открыл глаза. Глаза были влажные, покрасневшие, как у человека, который долго смотрел на яркий свет. Под носом у него показалась тонкая красная капля. Он смахнул её тыльной стороной ладони, быстро, как привычное, и я заметила, что манжета на этом рукаве испачкана не только чернилами.

— Мне нужно быть в вашем доме, — сказал он. — Конверт слишком мал. Мне нужна стена, у которой стоит бюро. Ночью. Когда всё затихает. Если там есть... кто-то, я услышу. Но это займёт время. Может быть, не одну ночь.

Я подумала о трёх днях, за которые в колонке Ф. М. был раскрыт «один вечер» в шляпной лавке.

— Сколько это будет стоить? — спросил господин Ладлоу, и лицо у него стало ещё несчастнее.

Мистер Астор открыл рот, чтобы назвать сумму. Я видела, что он собирается назвать маленькую сумму — слишком маленькую, судя по сорока девяти сольдам долга, — и что ему стыдно называть любую.

— Простите, — сказала я. — Можно мне задать господину Ладлоу три вопроса? Для протокола.

Оба посмотрели на меня. Господин Ладлоу — с недоумением. Мистер Астор — с чем-то, чего я тогда не разобрала. Позже я узнаю, что это была досада, которую быстро вытеснило любопытство. Тогда мне показалось, что он просто устал.

— Конечно, — сказал он и сделал широкий жест рукой. — Протокол — это важно.

Я повернулась к господину Ладлоу.

— Первый вопрос. Ваша супруга ведёт домашнюю расходную книгу?

— Ведёт, — растерянно сказал он. — Каждый вечер. Она очень аккуратна. А что?

— Какими чернилами?

— Фиолетовыми. — Он моргнул. — Фиалковыми, с нижнего яруса. Она их очень любит. Говорит, чёрные — для контор, а дом должен быть написан красивым цветом. Но какое это имеет...

— Второй вопрос, — сказала я. — Простите, если он покажется бестактным. Ваша матушка в своих письмах упоминает вашу супругу?

Господин Ладлоу покраснел. Покраснел так, как краснеют полные добродушные люди, — сразу весь, от ворота до корней волос.

— Иногда, — сказал он. — То есть... довольно часто. Матушка не одобряла мой брак. Она считает, что Мирабель... что моя жена из простой семьи и... не умеет вести дом. Хотя она прекрасно ведёт дом! Матушка просто... она пишет, что в мои годы пора бы иметь наследника. И что, может быть, это Мирабель... — Он не договорил и уставился в свой котелок.

— Третий вопрос, — сказала я мягче. — Где вы держите ключ от бюро ночью?

— В жилетном кармане. Жилет я вешаю на спинку стула в спальне.

— А кто утром складывает ваши вещи и готовит вам свежую рубашку?

— Мирабель, — сказал господин Ладлоу. — Она всегда... — Он замолчал. Лицо его медленно менялось. — Она всегда складывает рубашки втрое. Её мать была белошвейкой. Она так приучена. Втрое, поперёк, и прижимает складку ногтем, чтобы...

Он не договорил. Он смотрел на конверт на столе — на аккуратные, тщательно прижатые ногтем складки.

На чердаке снова стало тихо. На этот раз тишина была другого рода.

— Господин Ладлоу, — сказала я, — я думаю, ваш брат здесь ни при чём. Я думаю, ваша супруга знает, что ваша матушка о ней пишет. Возможно, однажды вы оставили письмо на столе, или кто-то из соседей пересказал, или она просто догадалась по вашему лицу во вторник вечером. Ей больно. И ей нужно было знать, что именно там написано. Ночью она брала ключ из жилета, открывала бюро и читала. А потом не смогла положить письма обратно, потому что тогда пришлось бы признать, что она их читала. Она носила их с собой, перечитывала. Вчера ей, видимо, стало стыдно, и она вернула первое. Но сложила по привычке — как складывает всё, что берёт в руки. А пятнышко на конверте — от её фиалковых чернил. Такое же у вас на обручальном кольце. Вероятно, утром она взяла вас за руку, когда вы уходили.

Господин Ладлоу поднял правую руку и долго смотрел на кольцо. На внутренней стороне, у самого пальца, действительно виднелся бледный фиолетовый след. Он потёр его большим пальцем. След не стёрся.

— Она держала меня за руку, — сказал он тихо. — Да. Вчера, у двери. Она давно так не делала. Я подумал... я подумал, ей просто холодно.

Сыщик, считающий себя гением, и девица без дара смотрели, как немолодой страховщик сидит на продавленном диване и плачет, не стесняясь. Не от горя. От облегчения. Мне кажется, он плакал оттого, что его брат наконец перестал быть призраком, а жена перестала быть чужой.

Мистер Астор молчал. Он не смотрел на меня. Он смотрел на свои руки на столе, и у него было странное лицо: удивлённое и немного беззащитное, как у человека, который долго нёс тяжесть и вдруг заметил, что её больше нет.

— Что мне делать? — спросил наконец господин Ладлоу, вытирая лицо платком.

— Я бы на вашем месте, — сказала я, — пошла домой и сама показала ей письма. Все. И сказала бы, что вы с ними не согласны. А матушке написала бы, что впредь будете читать только те страницы, где нет вашей жены. Но это не сыскной совет. Это просто совет.

Господин Ладлоу встал. Надел котелок, снял его, снова надел. Потом полез во внутренний карман, достал кошелёк и, не считая, выложил на стол три серебряных сольда.

— Нет, — сказал мистер Астор быстро. — Это слишком много. Это... я ничего не сделал, это...

— Это плата за консультацию агентства, — сказала я и аккуратно пододвинула монеты к краю стола, подальше от его руки. — Агентство приняло клиента, выслушало, установило причину. Протокол составлен. — Я показала ему счёт прачки с карандашными записями на обороте. — Благодарим вас, господин Ладлоу.

Господин Ладлоу пожал руку мистеру Астору. Потом, поколебавшись, — мне. Потом ушёл, и мы слышали, как скрипнула под ним седьмая ступень, потом двенадцатая, потом тридцатая. Потом хлопнула внизу дверь, и мадам Пэк что-то крикнула ему вслед звучным сценическим голосом.

Мистер Астор долго смотрел на три сольда.

— Как вы это сделали? — спросил он наконец.

— Я посмотрела, — сказала я. — Чернила. Складки. Кольцо. И спросила то, что он и так знал, но боялся сложить вместе.

— Две минуты, — сказал он. — Это заняло у вас две минуты. Я слушал четыре.

— Вы считали? — удивилась я.

— Я не считал. Я слышал, как тикают мои часы. — Он кивнул на карманные часы на столе. — Двести сорок ударов, пока я слушал. Сто двадцать — пока вы спрашивали.

Мы помолчали. Мистер Астор взял один сольд, повертел в пальцах, положил обратно.

— Ну что ж, — сказал он, и голос у него снова стал значительным, тем, которым он говорил «Войдите!». — Вы удачно угадали, мисс Гласс. Очень удачно. Это редкое качество.

Интуиция. Женская интуиция. Я сам во многом полагаюсь на интуицию, так что ценю её в других.

Я посмотрела на него. Он смотрел куда-то в сторону окна.

— Да, — сказала я. — Удачно угадала.

— Вы приняты, — сказал он. — Если хотите. Жалованье... — Он замялся. — Жалованье по договорённости.

— Шесть сольдов в неделю, — сказала я.

Он поморщился, будто я наступила на седьмую ступень.

— Три, — сказал он. — Сейчас. И три — когда будет следующий клиент.

— Четыре, — сказала я. — Из которых два вы сегодня же отнесёте в контору городских потоков, чтобы они дали тепло. Я не могу вести счета, когда у меня мёрзнут пальцы. Остальные два — мне. Остальное — когда будет следующий клиент. А он будет: я подам объявление.

— Агентству не нужны объявления, — сказал он с достоинством. — О нас пишут в газете.

— О вас пишут в газете, — согласилась я. — С тремя ошибками в одной колонке. Шляпная лавка находится у станции № 6, а не у № 4. И вы раскрыли то дело не за один вечер, а за три дня.

Он посмотрел на меня так, будто я заглянула ему в карман.

— Откуда вы...

— Я читаю внимательно, — сказала я. — Это тоже входит в умение считать.

Он открыл рот. Закрыл. И вдруг рассмеялся — коротко, растерянно, впервые по-настоящему. Смех у него оказался совсем не таким, как голос для клиентов: мальчишеский, немного хриплый.

— Хорошо, — сказал он. — Четыре. Приходите завтра в восемь. Окно открывается, если ударить по раме слева. Или не открывается. Как ему вздумается.

— Я разберусь, — сказала я.

Я встала, поправила воротничок, взяла со стола свои два сольда и положила в кошелёк, к четырём сольдам и пяти медякам. Шесть сольдов. Пятнадцать дней. Шестнадцать, если без мяты. Мята, разумеется, оставалась.

У люка я обернулась.

Мистер Астор стоял посреди чердака и тёр переносицу двумя пальцами, как тогда, когда я пришла. Но выражение лица у него было другое. Он хмурился, но не от боли, а от удивления. Он прислушивался к чему-то. Потом осторожно, будто боясь спугнуть, убрал руку от лица, постоял, наклонив голову. Потом посмотрел на бархатное кресло у печки.

— Тихо, — сказал он креслу. Негромко, почти растерянно. — Ты слышишь? Тихо.

Кресло, разумеется, ничего не ответило. Я спустилась по стремянке, не наступив ни на одну скрипучую ступень, и вышла на улицу, где ветер чуть не сорвал с меня шляпку во второй раз за день.

Только у часовни Первого Камня, уже спускаясь к Хрустальной, я поняла, что весь день у меня не болела голова от туго затянутых волос. Я подумала, что это от свежего воздуха.

Мистер Астор, как я узнала гораздо позже, тоже думал, что дело в воздухе. Он ошибался. Мы оба ошибались. Но он, в отличие от меня, начал догадываться в тот же вечер.

Глава 2

Чердак на улице Соляных Ветров

1

На следующее утро я поднялась по ста сорока семи ступеням за двадцать две минуты — на четыре минуты быстрее, чем накануне. Ветер был тот же, канат тот же, пропасть слева та же. Изменилась только я: теперь я знала, где ступени выщерблены, а где можно не смотреть под ноги, и шла, как человек, у которого есть работа.

Это удивительное ощущение. Его не объяснишь тем, у кого работа была всегда. Как будто под ногами вместо воздуха появился пол.

Мадам Пэк открыла дверь раньше, чем я успела постучать. Сегодня на ней был изумрудный халат с журавлями, а тюрбан сменился шёлковой косынкой, повязанной так, как, по-видимому, повязывала её Королева Соли в третьем акте.

— Вы вернулись, — сказала она с удовлетворением, словно выиграла пари. — Я так и сказала Лоури: эта вернётся. У неё спина.

— Доброе утро, мадам Пэк. Мистер Астор у себя?

— Мистер Астор, — сказала мадам Пэк, понизив голос до театрального шёпота, — вчера вечером ходил в контору потоков. Сам. Я видела, как он уходил, и видела, как вернулся. Он вернулся с таким лицом, будто заплатил за весь верхний ярус. — Она помолчала. — Тепло дали. Два часа в день, с шести до восьми утра. Они там считают, что этого достаточно, чтобы человек не замёрз насмерть, пока не заплатит остальное. Бесчеловечно. Я говорю вам, бесчеловечно. Поднимайтесь. Он уже не спит. Он, кажется, вообще не спал.

Я поднялась, не наступив на седьмую, двенадцатую и тридцатую ступени. У стремянки я остановилась: сверху тянуло теплом. Слабым, едва заметным — как тянет от остывающей печки. Но всё-таки теплом.

На чердаке трубы потоков вдоль стены были тёплыми. Я положила на них ладонь и подержала, как держат руку на спине доброй собаки. Потом посмотрела на часы — карманные, на столе, — и увидела, что они показывают семь пятьдесят шесть. Значит, через четыре минуты тепло снова уйдёт до завтрашнего утра.

Мистер Астор сидел за столом и что-то писал. Он поднял голову, когда я выбралась из люка, и на секунду лицо у него стало растерянным, словно он не ожидал меня увидеть. Потом он вспомнил, что ожидал, и встал.

— Мисс Гласс, — сказал он. — Доброе утро. Вы точны.

— Я пришла на четыре минуты раньше, — сказала я. — Чтобы застать тепло.

Он посмотрел на трубы, потом на часы, потом снова на меня.

— Вы знаете расписание потоков в этом доме?

— Мадам Пэк сказала.

— А. — Он, кажется, немного разочаровался. — Я думал, вы вычислили.

— Я бы вычислила, — сказала я, — но мне понадобился бы день наблюдений. Мадам Пэк быстрее.

Он кивнул с серьёзным видом, как будто я сообщила ему важный методологический принцип, и сел обратно. Я сняла шляпку, повесила её на гвоздь у люка — других гвоздей на чердаке не было, на этом висел его старый шарф, и шляпка повисла поверх шарфа, — и огляделась.

За ночь чердак не изменился. Те же стопки бумаги, тот же веер счетов на полу, тот же череп, который вчера был выложен для клиента, а сегодня почему-то лежал на подоконнике и смотрел на каньон. Пустых кружек с тёмным осадком стало четыре. Одеяло на диване было

скатано, но скатано так, как скатывают в спешке, когда на диване и не спали вовсе, а просто сидели всю ночь, завернувшись в него.

Ещё на столе лежала моя вчерашняя бумага — счёт прачки, на обороте которого я записывала показания господина Ладлоу. Мистер Астор что-то дописал под моими строчками. Я прочла вверх ногами: «Фиалк. черн. — нижн. ярус. Белошв. складка. Кольцо — утро у двери». И ниже, крупнее, подчёркнуто дважды: «Почему тихо???»

Он заметил, куда я смотрю, и быстро перевернул лист.

— С чего мне начать? — спросила я.

— С чего хотите, — сказал он и сделал широкий жест рукой, охватив стол, пол, подоконник, диван и, кажется, весь каньон за окном. — Здесь всё. Записи по делам, счета, переписка, газеты. Я собирался разобрать, но...

— Но?

— Но слушать интереснее, чем разбирать, — признался он. — Делайте, как считаете нужным. Я не буду мешать. Мне всё равно нужно... — Он посмотрел на стену. — Подумать.

Он ушёл на диван, сел, завернулся в одеяло и закрыл глаза. Мне показалось, что он заснул через минуту. Позже я узнаю, что это было не так: он не спал, а слушал дом, как другие люди по утрам слушают новости. Мадам Пэк на первом этаже жарила гренки. Господин Лоури на третьем ругался с мышью. Внизу, на станции № 7, сменялась бригада канатчиков. Он слышал всё это сквозь камень, сквозь стены и перекрытия, и сортировал, и откладывал, как я откладываю бумаги в стопки.

Я начала с бумаг.

Сначала я просто собрала всё с пола. На это ушло сорок минут: бумаг оказалось больше, чем я думала, они лежали под диваном, под столом, за печкой, одна обнаружилась в пустой кружке. Потом я разложила их по видам. Счета — налево. Письма — направо. Газетные вырезки — на подоконник. Записи по делам — на стол, отдельной стопкой.

Записи по делам заслуживают особого описания, потому что именно тогда я впервые поняла, как работает голова мистера Астора.

Он вёл их на чём придётся. На обороте счетов, на полях газет, на салфетках из настойной, на билете в театр, на обрывке обоев. Почерк у него был быстрый, размашистый, с сильным наклоном вправо, будто буквы торопились куда-то убежать. Записей было много, и все они выглядели примерно так:

«Лавка Мирт. Крик, ночь, 2 ч. Не мужской. Кошка??? — Нет. Девочка, плачет. Кто? Спросить».

Или так:

«Дом Беллов. В подвале — гнев. Старый. 10 лет? 20? Под гневом — страх. Под страхом — что-то металлическое, стук. Лопата? Если лопата — что копали?»

Или вот так, на обрывке обоев, крупно, с тремя восклицательными знаками:

«ЗВЕНИТ!!! Стена в кухне звенит, как струна. Почему? Не знаю. Записать — потом подумать».

Под этой записью ничего не было. Видимо, «потом» так и не наступило.

Я перечитала несколько десятков таких заметок, и картина постепенно сложилась. Мистер Астор слышал невероятно много. Он слышал то, чего не мог услышать никто: крики в пустых лавках, гнев в подвалах, звон в кухонных стенах. Но он не умел ничего с этим делать. Его записи были как кусочки мозаики, которые высыпали из коробки на пол и так и оставили. Красные к красным, синие к синим — в лучшем случае. Обычно и того не было.

Я взяла чистый лист — точнее, оборот очередного счёта, потому что чистых листов на чердаке не нашлось — и начала составлять опись. Дело. Дата, если можно установить. Клиент. Что услышано. Чем кончилось. Оплачено или нет.

Из сорока трёх дел, которые мне удалось восстановить по записям, оплачено было одиннадцать. Девятнадцать были, судя по всему, раскрыты — то есть мистер Астор нашёл, кто виноват, или убедился, что никто не виноват. Из девятнадцати раскрытых оплачено было восемь. Остальные одиннадцать он, по-видимому, раскрыл бесплатно.

Я долго смотрела на этот столбец.

Потом нашла ещё одну закономерность. Бесплатные дела почти все были с нижнего или среднего яруса. Лавка Мирт — нижний ярус, рыбный рынок. Дом Беллов — средний, переулок Медников. Вдова-прачка с Береговой улицы, у которой пропал сын, и сын нашёлся. Старик, у которого крали дрова. Девочка, которую боялись оставлять одну, потому что «в стенах кто-то плачет». Ни одно из этих дел не попало в колонку Ф. М. В колонку попадали только верхние — шляпная лавка, фамильные кольца, призраки в особняках.

Я записала это внизу описи мелким почерком, для себя: «Платят верхние. Нуждаются нижние. Он работает для вторых, а пишут о нём для первых».

Потом я взялась за счета.

Счета были проще. Счета всегда проще: в них нет крика, гнева и звона, только цифры. Я разложила их по датам и по кредиторам. Сорок девять сольдов, как я и сосчитала вчера. Минус два, которые мистер Астор вчера отнёс в контору потоков. Сорок семь. Плюс один сольд, который он, судя по квитанции, тоже вчера отдал угольщику — видимо, по пути, от широты души. Значит, сорок шесть.

Я составила план. Простой, в две колонки. Слева — кредиторы, в порядке того, насколько они опасны: контора потоков (отключает тепло), угольщик (перестаёт возить уголь для печки), прачка (перестаёт стирать, что неприятно, но не смертельно), неизвестный кредитор на шесть сольдов, чей счёт был подписан неразборчиво и не указывал, за что. Справа — сколько и когда можно отдавать, если в неделю будет хотя бы два клиента по три сольда.

Получалось, что через семь недель агентство выйдет из долгов. Через девять, если считать моё жалованье. Через одиннадцать, если мистер Астор и дальше будет раскрывать дела нижнего яруса бесплатно.

Я подумала и решила, что одиннадцать недель — это не так уж плохо.

Где-то в половине одиннадцатого мистер Астор открыл глаза, потянулся, встал с дивана и подошёл к столу. Он посмотрел на аккуратные стопки. На опись. На план выплат. Он долго молчал.

— Это всё было здесь? — спросил он наконец.

— Всё было здесь, — сказала я. — Только на полу.

— Я знаю, что на полу, — сказал он. — Я знаю, где что лежало. Вот здесь, — он показал на место под диваном, — было дело вдовы Тэйт. А вот здесь, — на угол у печки, — счета угольщика. Я находил всё, что нужно.

— За какое время?

Он подумал.

— Иногда за минуту, — сказал он. — Иногда за день.

— Теперь — за минуту всегда, — сказала я. — Счета — в этой папке, по датам. Дела — в этой, по алфавиту клиентов. Неоплаченные дела отмечены крестиком. Вырезки из газет — на подоконнике, я ещё не успела их разобрать.

Он взял папку с делами, открыл, полистал. Остановился на одной странице. Я знала, на какой: это была опись бесплатных дел.

— Вы это зачем посчитали? — спросил он.

— Я считаю всё, — сказала я. — Это не упрёк. Просто я должна знать, на что мы можем рассчитывать.

— Мы, — повторил он.

— Агентство, — поправилась я.

Он закрыл папку и положил на стол. Мне показалось, что он хочет что-то сказать — что-то вроде «эти люди не могли заплатить» или «так было правильно». Но он не сказал. Он просто взял свою пустую кружку, посмотрел на неё, словно удивляясь, что она пустая, и пошёл к печке, где на горелке стоял закопчённый медный котелок.

Котелок этот я буду помнить, наверное, всю жизнь. Он был старый, с вмятиной на боку и ручкой, обмотанной бечёвкой, чтобы не обжигать пальцы. В нём мистер Астор варил свой настой из обжаренных речных кореньев — горький, густой, тёмный, как смола. Он заваривал его по особому рецепту, который мне так и не удалось до конца понять: сначала котелок долго стоял на горелке, почти доходя до кипения, потом мистер Астор снимал его, ждал, снова ставил. Кипеть настою было нельзя: по его словам, тогда он «становится злым».

— Хотите? — спросил он, наливая себе кружку. Запах — жжёный сахар и мокрая кора — заполнил чердак.

— Нет, спасибо. — Я достала из сумки свёрток, в котором был пакетик сушёной горной мяты, и стеклянную бутыль с холодной водой, которую несла от самого переулка Ткачей. — Я пью мяту. Холодную.

— Холодную? — Он посмотрел на меня с подозрением. — Зимой?

— Сейчас не зима.

— Сейчас осень. Почти зима. На этом чердаке всегда почти зима.

— Тем более, — сказала я. — Если всегда холодно, лучше пить холодное. Не будет разочарования.

Он хмыкнул — тем же мальчишеским смешком, что и вчера, — и сел на подоконник рядом с черепом, держа кружку обеими руками.

— Мисс Гласс, — сказал он, глядя на каньон. — Вчера. С Ладлоу. Вы ведь знали ещё до того, как я начал слушать?

Я подумала, не солгать ли. Но решила, что лгать на второй день работы — дурная привычка.

— Я поняла, когда он положил конверт на стол, — сказала я. — Но мне нужно было проверить.

— А почему вы мне не сказали? Сразу?

— Вы начали слушать, — сказала я. — Было бы невежливо перебивать.

Он повернулся и посмотрел на меня поверх кружки. Долго. И снова — как вчера — у него на лице появилось то выражение, которое я не умела прочесть: удивлённое, немного беззащитное и ещё какое-то, чему у меня тогда не было названия.

— Вежливо, — сказал он. — Да. Вы правы. Очень вежливо.

Он отвернулся к окну. А трубы вдоль стены, остывшие ещё в восемь, тихо щёлкнули, словно напоминая нам обоим, что тепло на этом чердаке теперь выдаётся по расписанию, а всё остальное — как придётся.

2

Он пришёл около полудня, и я услышала его раньше, чем увидела.

Точнее, я услышала то, чего не услышала. По лестнице кто-то поднимался — неторопливо, размеренно, — и под ногами у него не скрипнула ни седьмая ступень, ни двенадцатая, ни тридцатая. Кроме нас с мистером Астором и мадам Пэк, никто в доме не знал, на какие ступени нельзя наступать. А мадам Пэк, судя по шагам, весила вдвое меньше и ходила вдвое быстрее.

Вместе с шагами по лестнице поднимался ещё один звук. Негромкий, сухой, чёткий: тук — тук-тук. Пауза. Тук — тук-тук. Так стучит о камень трость, если человек привык ставить её строго в такт, через каждые три шага.

Мистер Астор, сидевший на подоконнике с газетой, поднял голову и улыбнулся. Я впервые видела, чтобы он улыбался вот так: не значительно, не растерянно, а просто, как ребёнок, который услышал на лестнице знакомые шаги.

— Крёстный, — сказал он. — Сегодня вторник. Он всегда приходит по вторникам.

Из люка показалась серебряная голова. Потом широкие плечи в тёмно-сером пальто дорогого сукна. Потом рука в перчатке тонкой кожи, державшая за ручку трость тёмного дерева с наконечником из чистого соляного кристалла, отполированного до прозрачности. В другой руке посетитель держал коробку, перевязанную лентой.

Он выбрался на чердак легко, совсем не так, как вчерашний господин Ладлоу, и выпрямился. Ему было лет под шестьдесят. Лицо крупное, умное, с глубокими складками у рта — из тех лиц, что хорошо смеются и хорошо слушают. Глаза светлые, внимательные, окружённые сеточкой морщин. Аккуратная седая бородка. От него пахло лавровишней, дорогим табаком и, едва уловимо, машинным маслом — как пахнет в мастерских, где делают точные механизмы.

— Мальчик, — сказал он с упрёком и нежностью сразу, оглядывая чердак. — Ты опять не спал. Не отпирайся, у тебя глаза как у совы. И холодно, как в склепе. Когда ты последний раз платил за... — Он замолчал, потому что увидел меня. — О. Прошу прощения. Я не знал, что у тебя клиент.

— Это не клиент, — сказал мистер Астор, спрыгивая с подоконника. — Это мисс Гласс. Моя... новый секретарь агентства. С сегодняшнего дня. Мисс Гласс, это магистр Оскар Ренн, главный инженер города. Мой крёстный.

Магистр Ренн. Я знала это имя, как его знал каждый в Весери-Сити. Его подпись стояла на половине городских чертежей. Его фуникулёры возили нас вверх и вниз по каньону. Его бюро прокладывало новые линии потоков, укрепляло террасы, рассчитывало мосты. В «Весерском вестнике» его называли «человеком, который держит город на канатах». Отец, помнится, произносил его имя с особым почтением, которое приберегал для людей полезных и опасных.

Я встала.

— Мисс Гласс, — повторил магистр Ренн, и в глазах у него мелькнуло что-то — быстрое, оценивающее, тут же спрятанное за любезностью. — Очень рад. Очень. — Он снял перчатку и протянул мне руку. Рука была тёплая, сухая, с жёсткими подушечками пальцев человека, который много лет держит в руках инструменты. — Я давно говорю этому упрямцу, что ему нужен кто-то, кто будет хотя бы открывать ему окна. Вижу, наконец послушался. Хотя бы раз в жизни.

— Окно не открывается, — сказала я.

— Знаю, — сказал магистр Ренн весело. — Я рассчитывал этот дом. То есть его реконструкцию, сорок лет назад, ещё студентом. Это окно я ставил своими руками. Оно никогда не открывалось как следует. Это мой первый инженерный провал, мисс Гласс, и я им горжусь: он научил меня скромности.

Он рассмеялся. Смех у него был глубокий и заразительный. Я невольно улыбнулась.

— Пирожные, — сказал магистр Ренн, ставя коробку на стол, прямо на мою аккуратную стопку счетов. — Из «Кондитерской Мельхиора» на Хрустальной. С соляной карамелью. Ты их любишь, мальчик, не отпирайся. Мисс Гласс, угощайтесь. Это не подкуп. Это традиция.

Я посмотрела на коробку. Я знала эти пирожные. Вчера я разглядывала их через витрину и считала, сколько дней можно прожить на деньги, которые стоит одно из них. Полтора сольда за штуку. В коробке их было шесть. Девять сольдов. Почти месяц моей прежней жизни, перевязанный шёлковой лентой.

Я сказала «спасибо» и взяла одно. Оно было восхитительным. Я старалась есть медленно.

Магистр Ренн тем временем, не снимая пальто, обошёл чердак. Он двигался по нему как человек, хорошо его знающий: обогнул бархатное кресло у печки, не взглянув на него, наклонился к трубам, приложил к ним ладонь, покачал головой. Остановился у стола, посмотрел на мои папки — аккуратные, надписанные — и поднял брови.

— Это вы? — спросил он меня.

— Это мисс Гласс, — ответил за меня мистер Астор с некоторой гордостью, будто это была его заслуга. — За одно утро.

Магистр Ренн открыл папку со счетами, полистал. Задержался на моём плане выплат — две колонки, кредиторы и сроки. Потом открыл папку с делами. Я подумала, что он сейчас наткнётся на опись бесплатных дел, и почему-то почувствовала неловкость, будто он заглянул в мой личный дневник. Но он лишь пробежал глазами первую страницу и закрыл папку.

— Какой почерк, — сказал он. — Мисс Гласс, у вас инженерный почерк. Ровный, без украшений, цифры не спутаешь. Вас учили черчению?

— Меня учили считать, — сказала я. — Почерк получился сам.

— Это лучший способ, — сказал он. — Почерк, который получился сам, не врёт. — Он посмотрел на меня внимательнее. — Гласс. Позвольте, я ведь знаю эту фамилию. Не из Глассов ли с Лилейной террасы? Советник Арчибальд Гласс случайно не...

— Я не обсуждаю родственников на работе, магистр Ренн, — сказала я. Вежливо. Ровно. Тоном, которым мать говорила с поставщиками.

На чердаке стало тихо. Мистер Астор посмотрел на меня с удивлением. Магистр Ренн — с чем-то другим. Секунду я была уверена, что он обидится. Потом он медленно, с явным удовольствием, улыбнулся.

— Превосходно, — сказал он. — Превосходный ответ. Я сам двадцать лет пытаюсь научиться так отвечать на заседаниях Совета, и у меня до сих пор не выходит. Прошу прощения, мисс Гласс. Это было нескромно. Больше не повторится.

Он повернулся к мистеру Астору, и я поняла, что разговор обо мне окончен. Но тот быстрый, оценивающий взгляд, мелькнувший, когда он только увидел меня, я запомнила. Я тогда подумала, что так смотрят на новую деталь в знакомом механизме: подойдёт или нет.

— Ну, мальчик, — сказал магистр Ренн, опускаясь на край дивана — того самого, где я сидела вчера, — и положив трость на колени. — Рассказывай. Как голова?

— Нормально, — сказал мистер Астор.

— Врёшь, — сказал магистр Ренн добродушно. — Ты всегда врёшь про голову. Мне твоя мать жаловалась: в прошлую среду ты пришёл к ней на обед и сидел, держась за виски, как будто у тебя там колокол. Она плакала, когда ты ушёл.

— Мама плачет, когда я прихожу, и когда ухожу, — сказал мистер Астор. — Это её способ общения.

— Её способ общения — это то, что от твоего отца у неё остался только ты, и ты сам себя убиваешь этими стенами, — сказал магистр Ренн тихо, и в голосе у него не было ни капли весёлости. — Я обещал Эдмунду присматривать за тобой. Я присматриваю. Ты пьёшь эту дрянь, — он кивнул на котелок, — вместо того чтобы спать. Ты лежишь на полу и слушаешь мышей. Ты берёшь дела, за которые никто не платит. Ты...

— Крёстный.

— Я знаю, знаю. — Магистр Ренн поднял руку. — Ты взрослый. Тебе двадцать семь. Ты сам знаешь, что делаешь. Я старый ворчун, который приходит по вторникам с пирожными и читает нотации. — Он улыбнулся снова, и тепло вернулось в его лицо так же быстро, как ушло. — Но голова-то как? Честно?

Мистер Астор помолчал. Потом, как-то неуверенно, будто сам удивляясь ответу, сказал:

— Сегодня лучше. Сегодня... тише. Не знаю почему.

Магистр Ренн посмотрел на него. Потом — очень быстро, почти незаметно — посмотрел на меня. И снова на него.

— Тише, — повторил он задумчиво. — Может быть, погода. С гор идёт сухой фронт. Сухой воздух хуже проводит.

— Может быть, — сказал мистер Астор.

— А может быть, — сказал магистр Ренн уже весело, — мисс Гласс просто разложила твои бумаги, и теперь у тебя в голове тоже порядок. Порядок вокруг, порядок внутри. Это старое инженерное правило. Мисс Гласс, вы на него хорошо действуете. Вы заметили? Он сегодня ни разу не потёр переносицу. Обычно трёт каждые пять минут, как будто хочет её стереть.

Я заметила. Но я думала, что дело в пирожных.

Они говорили ещё с полчаса — о городе, о Совете, о новой линии фуникулёра, которую бюро магистра Ренна прокладывало на нижние ярусы. Я делала вид, что разбираю газетные вырезки, и слушала. Мистер Астор с крёстным был другим человеком: не мистиком, не позёром, а просто молодым человеком, который любит старшего, спорит с ним, дерзит ему и ловит каждое его слово. Магистр Ренн говорил с ним так, как, наверное, говорил бы отец: немного насмешливо, немного строго и с такой нежностью, которую не всякий отец позволяет себе показать.

Я подумала, что у мистера Астора, выходит, было не так уж мало. Мать, которая плачет. Крёстный, который приходит по вторникам. Дом, в котором стены отвечают. Это больше, чем было у меня.

В какой-то момент магистр Ренн рассказал историю — о том, как сорок лет назад, будучи студентом, он вместе со своим другом Эдмундом Астором лазил по старым тоннелям под нижними ярусами, чтобы своими глазами увидеть, как устроены соляные пласты.

— Твой отец, мальчик, мог по одному звуку молотка сказать, какой пласт под ногами — живой или мёртвый, — сказал он. — Без всякого дара. Просто слушал. Ты в него.

— Отец не слышал стен, — сказал мистер Астор.

— Отец слышал камень, — сказал магистр Ренн. — Это другое. Он слушал, чтобы понять. А ты слушаешь всё подряд. — Он постучал тростью по полу, мягко: тук — тук-тук. — Научись выбирать, что слушать, и голова перестанет болеть. Я тебе это двадцать лет повторяю.

Наконец он встал, надел перчатку и взял трость.

— До вторника, мальчик. Заплати за тепло. Остальное заплачу я, но тепло — сам, это вопрос самоуважения. — Он повернулся ко мне и поклонился — не церемонно, а легко, по-дружески. — Мисс Гласс. Счастлив знакомству. Держите его в руках. И окно не бейте слишком сильно — оно помнит мою молодость и обижается.

Он пошёл к люку. Мистер Астор — следом, проводить. Я осталась у стола.

У самого люка магистр Ренн обернулся. Мистер Астор в этот момент нагнулся, чтобы поднять уроненную кем-то газету, и не видел. Магистр Ренн посмотрел на меня — прямо, без улыбки, без любезности, — и сказал вполголоса, так, что слышала только я:

— Берегите его, мисс Гласс. Он слышит слишком много для одного человека. Когда-нибудь это его убьёт.

Он начал спускаться. Седьмая ступень под ним не скрипнула. Двенадцатая тоже. Я слушала, как удаляется вниз по лестнице ровный, мерный стук трости: тук — тук-тук. Тук — тук-тук. Пока не хлопнула внизу дверь.

Мистер Астор вернулся к столу, взял ещё одно пирожное, откусил половину и сказал с набитым ртом:

— Он лучший человек в этом городе. Вы же видите?

— Вижу, — сказала я.

И это была правда. Я видела. Он был обаятельный, умный, добрый и щедрый. Он любил своего крестника. Он принёс девять сольдов пирожных на чердак, где не платили за тепло.

Я не знаю, почему потом, вечером, разбирая вырезки, я записала на полях своей описи — мелко, для себя, без всякой видимой причины — эти слова: «Ренн. Вторник. Знает, на какие ступени не наступать».

Вероятно, просто потому, что я записываю всё.

3

После ухода магистра Ренна мистер Астор доел ещё одно пирожное, выпил ещё одну кружку своего злого настоя и устроился в углу за печкой с газетой. Я вернулась к вырезкам. Около часа на чердаке было тихо, если не считать гула фуникулёров и шелеста бумаги.

А потом он начал разговаривать.

Сначала негромко, будто про себя. Я не обратила внимания: многие люди бормочут, когда читают. Мой отец, например, читал отчёты Совета вслух, шёпотом, отделяя каждое слово, будто пробуя его на прочность. Но мистер Астор не читал. Газета лежала у него на коленях, а сам он смотрел в сторону бархатного кресла у печки и говорил с ним.

— Нет, — сказал он. — Нет, я не согласен. Это было не в восемьдесят втором, это было позже. — Пауза. — Откуда мне знать? Меня тогда не было. — Пауза. — Ты тоже не мог знать, ты к тому времени уже... ну да. Ладно. Да. Пусть в восемьдесят втором.

Я подняла голову.

Мистер Астор, заметив мой взгляд, на секунду смутился, потом сделал вид, что ничего не произошло, и уткнулся в газету. Через пять минут всё повторилось.

— Ты преувеличиваешь, — сказал он креслу. — Она не стучит. Ну, только каблуками. — Пауза. — Это не грубость, это обувь. Женщины ходят на каблуках. — Пауза. Он вдруг покраснел. — Это не твоё дело. И вообще, откуда ты знаешь, как ходили женщины в твоё время, если ты сто лет не выходил из дома?

Я положила вырезку на стол, взяла карандаш и на обороте счёта за чистку дымохода написала мелко, для себя: «Разговаривает с креслом. Регулярно. Проверить, не пьёт ли».

Потом подумала и добавила: «Кроме кореньев».

Потом подумала ещё и сказала вслух:

— Мистер Астор.

Он вздрогнул.

— Да?

— С кем вы разговариваете?

Он открыл рот. Закрыл. Посмотрел на кресло, словно ища у него поддержки. Потом вздохнул тем глубоким вздохом, каким вздыхают люди, которым приходится в сотый раз объяснять одно и то же, и каждый раз объяснение кончается плохо.

— Вы же всё равно не поверите, — сказал он.

— Я не обещаю поверить, — сказала я. — Но я обещаю послушать. Это я умею.

Он посмотрел на меня. Потом сложил газету, отложил её и сел на краешек дивана, напротив меня, упираясь локтями в колени.

— Его зовут Бартоломью Финч, — сказал он. — Он жил на этом чердаке. Около ста лет назад. Он был... я точно не знаю, кем он был. Он говорит, что переплётчиком, но врёт, переплётчики не разбираются в кладке так, как он. Он умер здесь. Не знаю как. Он не говорит. А когда человек долго живёт в одном месте и много говорит, стены впитывают его голос. Это обычное дело. В каждом старом доме есть такое. Но обычно это просто... запись. Обрывки. Как пластинка, которая повторяет одно и то же. А Финч...

— А Финч?

— А Финч отвечает, — сказал мистер Астор. — Это необычно. Это совсем необычно. Я не знаю, почему. Эхо не должно отвечать. Эхо — это то, что было, а не то, что есть. Но он отвечает. Спорит. Ворчит. Комментирует. Он невыносимый. — Мистер Астор помолчал. — Я к нему привык.

Я посмотрела на кресло. Кресло было пустым, бархатным и выцветшим. На подлокотнике виднелась протёртая полоса, будто кто-то годами держал на нём руку.

— Хорошо, — сказала я. — Допустим. Что значит «стены впитывают голос»?

— Вы правда хотите знать?

— Я работаю в агентстве, которое этим живёт. Я должна понимать, как оно работает. Иначе я не смогу правильно вести счета.

Он посмотрел на меня с подозрением, будто подозревая издёвку. Издёвки не было. Мне действительно было нужно знать. Я никогда не понимала, как устроен дар, — мне его только искали и не находили. А теперь передо мной сидел человек, у которого дара было, судя по всему, больше, чем ему хотелось.

— Соль помнит, — сказал он наконец. — Вы же знаете, что город стоит на соли. Камень, из которого сложены дома, — пористый, он насквозь пропитан солью. Крыши — соляная корка. Даже штукатурка — с солью. А соль... — Он поискал слова. — Соль запоминает. Звук. Дрожь. Удар. Если в комнате кричали, крик уходит в стены и остаётся там. Слабеет со временем, но остаётся. Если в комнате плакали годами — стены пропитываются плачем. Если в комнате убили человека... — Он замолчал. — Это слышно. Очень долго.

— И вы это слышите.

— Я это слышу. — Он коснулся пальцами виска. — Всё сразу. Всегда. Это как... представьте, что вы сидите в комнате, где играют сто оркестров одновременно, каждый своё, и все немного расстроены. И вас просят найти в этом одну скрипку. Одну ноту, которую кто-то взял не так двадцать лет назад.

— И вы находите?

— Иногда, — сказал он. — Иногда нахожу ноту, но не понимаю, что она значит. Иногда понимаю, что она значит, но не могу найти, откуда она. Иногда слышу всё сразу, и у меня из носа идёт кровь, и я ложусь на пол и жду, пока пройдёт. — Он криво улыбнулся. — Вы видели вчера.

Я видела. Я вспомнила тонкую красную каплю, которую он смахнул тыльной стороной ладони, и манжету, испачканную не только чернилами.

— Можно проверить? — спросила я.

— Что проверить?

— Что вы слышите то, что говорите, будто слышите. Простите. Это не недоверие. Это... метод.

Он рассмеялся — коротко, без обиды.

— Метод, — сказал он. — Хорошо. Проверяйте.

Я подумала, что можно проверить. Мне нужно было что-то, чего он не мог знать заранее и что я могла бы подтвердить. Я вспомнила вчерашний вечер. Когда господин Ладлоу уходил, внизу хлопнула дверь, и мадам Пэк крикнула ему вслед что-то звучным сценическим голосом. Я слышала крик, но не разобрала слов: я была на чердаке, за четыре этажа и люк.

— Вчера, — сказала я, — когда господин Ладлоу уходил, мадам Пэк что-то крикнула ему вслед. Что?

Мистер Астор закрыл глаза. Прижал ладонь к полу — к доскам у дивана. Подождал. На этот раз недолго: я досчитала до одиннадцати.

— «Котелок наденьте ровно, господин хороший, вы не на похороны идёте, а к жене», — сказал он, не открывая глаз, и голос у него на секунду стал очень похож на голос мадам Пэк: низкий, раскатистый, с драматическими паузами. — И потом ещё, тише, сама себе: «Ох уж эти мужчины».

Он открыл глаза.

Я встала, спустилась по стремянке и по девяноста шести ступеням — не наступая на седьмую, двенадцатую и тридцатую — до первого этажа. Мадам Пэк сидела в гостиной у окна, раскладывала пасьянс и курила свой пустой мундштук.

— Мадам Пэк, — сказала я, — простите. Вчера, когда клиент мистера Астора уходил, что вы ему крикнули?

Мадам Пэк подняла на меня подведённые глаза.

— Вы проверяете его, — сказала она. Это был не вопрос.

— Да.

Она одобрительно кивнула, будто я сделала правильный ход в её пасьянсе.

— Я крикнула ему, чтобы надел котелок ровно, — сказала она. — Потому что он шёл не на похороны, а к жене. У него было лицо человека, который идёт к жене просить прощения, а котелок сидел, как у гробовщика. Я тридцать лет на сцене, милая. Я знаю, как должна сидеть шляпа у человека, который идёт мириться.

— А потом? Тише?

Мадам Пэк задумалась.

— Потом я сказала «ох уж эти мужчины», — сказала она. — Себе под нос. Он и это услышал?

— Он и это услышал.

Мадам Пэк положила карту, которую держала в руке, — даму треф — поверх короля бубен. И сказала задумчиво:

— Четыре года живёт у меня. Каждый раз, когда кто-нибудь приходит его проверять, я думаю: сейчас поверят. И каждый раз не верят. Говорят, мы с ним сговорились. Говорят, он подслушивает у двери. Говорят, он шарлатан. Последняя девица сказала, что он сумасшедший, и сбежала, не дождавшись жалованья. — Мадам Пэк посмотрела на меня. — А вы что скажете?

— Я скажу, — ответила я, — что до вчерашнего вечера он меня в глаза не видел и не мог знать, что я спрошу именно об этом. И что с чердака до входной двери четыре этажа и люк. И что он не мог подслушать, потому что всё время был со мной. Значит, он слышит.

Мадам Пэк улыбнулась — широко, по-сценически, с поклоном невидимой публике.

— Браво, — сказала она. — Браво. Вы останетесь.

Я поднялась обратно. Мистер Астор сидел на том же месте, на краю дивана, и смотрел на люк. Когда я выбралась, он отвёл глаза, будто ему было всё равно. Ему не было всё равно. Это было видно по тому, как он держал руки — сжатыми, между колен.

— Ну? — спросил он небрежно.

— Мадам Пэк подтвердила, — сказала я. — Слово в слово. Включая «ох уж эти мужчины».

Он выдохнул. Очень тихо, но я услышала. Это был вздох человека, которого в сотый раз не назвали сумасшедшим, и он не знает, что с этим делать.

Я вернулась к столу, взяла счёт за чистку дымохода, на обороте которого написала «Проверить, не пьёт ли», и дописала ниже: «Слышит. Проверено». Подумала и добавила: «Кресло не трогать».

— Что вы пишете? — спросил он.

— Протокол, — сказала я.

— Можно посмотреть?

— Нет, — сказала я. — Это внутренний протокол.

Он хмыкнул. Потом вдруг повернулся к креслу и сказал с раздражением:

— Нет, я не буду ей это переводить.

Пауза.

— Потому что это невежливо.

Пауза. Он покраснел.

— Финч. Замолчи.

— Что он сказал? — спросила я.

— Ничего, — сказал мистер Астор быстро. — Он старый и глупый. Он сказал... неважно.

— Он сказал что-то обо мне?

Мистер Астор посмотрел на меня, потом на кресло, потом снова на меня. Лицо у него стало сложным.

— Он сказал, — проговорил он медленно, — что вы странно звучите. Точнее... что вы не звучите. Совсем. Что когда вы ходите по чердаку, стены вас не слышат. Только каблуки. — Он помолчал. — Он путается. Он сто лет просидел в стене, у него всё путается. Не обращайте внимания.

Я хотела спросить, что это значит — «не звучите». Но в тот момент мне показалось, что это просто ещё одно слово из тех, что я слышала в детстве. «Она не звучит». «Отклика нет». «Тихо, как в пустом колодце». Слова, которыми целители объясняли моей матери, почему её дочь — неполноценная. Мне не хотелось слышать их снова. Даже от призрака в кресле.

— Хорошо, — сказала я ровно. — Не буду обращать внимания.

Я взяла следующую вырезку. Мистер Астор смотрел на меня ещё несколько секунд, будто хотел что-то добавить, но так ничего и не сказал.

А потом снизу донёсся скрип. Седьмая ступень. И сразу, без паузы, двенадцатая — так, будто кто-то бежал через две. И тридцатая. И голос — высокий, женский, срывающийся, пронзительный, такой, что его, наверное, слышали стены всех четырёх этажей:

— Где он? Где этот ваш сыщик? Мне сказали, он слышит камни! Пусть услышит, где мой кристалл!

Мистер Астор вскочил. Сгрёб со стола газету. Схватил лупу. Подумал, бросил её обратно и схватил череп.

— Клиент, — сказал он. — Верхний. Слышите, как каблуки стучат? Такие только на Хрустальной шьют. Мисс Гласс... — Он посмотрел на меня почти умоляюще. — Протокол.

Я взяла чистый оборот следующего счёта и карандаш.

— Протокол, — сказала я.

4

Первыми из люка появились меха.

Это был палантин из серебристого горного соболя — я знала этот мех, мать надевала такой на приёмы в Зале Совета, и он стоил больше, чем весь дом мадам Пэк вместе с мебелью. Палантин застрял в узком люке, и снизу раздался сдавленный возглас и треск шёлка. Мистер Астор бросился помогать. Через секунду, после короткой борьбы, на чердак выбралась женщина.

Ей было около пятидесяти пяти. Невысокая, полная, с лицом, которое когда-то было хорошеньким, а теперь стало значительным. Волосы цвета соломы, уложенные в сложную причёску, наполовину развалившуюся от бега по лестнице. На шее — три нитки соляного жемчуга. На пальцах — кольца, по одному на каждый, кроме больших. Платье тёмно-синего бархата, с кружевным воротником, порванное у подола: видимо, о седьмую ступень. Туфли на высоких каблуках, сшитые, как и предсказал мистер Астор, на Хрустальной улице, в мастерской «Фон Летт», я знала эту колодку. Лицо у женщины было красное, мокрое от слёз и злое.

Она оглядела чердак. Взгляд скользнул по стопкам бумаг, по холодным трубам, по черепу в руке мистера Астора, по продавленному дивану и бархатному креслу. Задержался на мне — ровно на столько, сколько задерживаются на мебели, — и вернулся к мистеру Астору.

— Это вы? — спросила она с недоверием. — Сыщик? Астор?

— Даниэль Астор, к вашим услугам, — сказал он и поклонился. Хорошо поклонился: так кланяются на верхних террасах, где этому учат с детства. Я заметила, что женщина это тоже заметила, и её лицо чуть смягчилось.

— Корделия Марш, — сказала она. — Вдова Себастьяна Марша. С Лилейной террасы.

Лилейная терраса. Я сохранила лицо неподвижным. Лилейная терраса находилась в двадцати минутах ходьбы от особняка моих родителей. Марши были там старой семьёй — не такой влиятельной, как Вальдемары или Глассы, но такой же гордой. Я смутно помнила Себастьяна Марша: высокий, худой старик с длинными седыми усами, который на детских праздниках

показывал фокусы с монетами. Его жену я не помнила совсем. Вероятно, мы встречались, когда мне было лет десять. Вероятно, она меня тоже не помнила. Я на это надеялась.

— Прошу вас, госпожа Марш, — сказал мистер Астор и огляделся в поисках места, куда её посадить.

Я быстро освободила край дивана, сдвинув вырезки. Вдова Марш села, будто делая дивану одолжение, и сразу заговорила — быстро, с захлёбом, как говорят люди, которые долго держали в себе крик:

— Её украли. Слезу мэра. Вчера вечером. У меня был салон, двенадцать человек, только самые близкие, только свои, понимаете, никого чужого, никаких журналистов, никаких выскочек, и её украли. Из витрины. Из запертой витрины. Ключ у меня, вот он, — она выхватила из-за воротника цепочку с маленьким серебряным ключом и потрясла им, — я ношу его на шее, не снимая, даже сплю с ним, и витрина заперта, и замок цел, а её нет!

— Слеза мэра, — сказал мистер Астор медленно. — Простите, госпожа Марш. Что это?

Вдова Марш посмотрела на него так, будто он спросил, что такое солнце.

— Вы не знаете? — Голос её поднялся на октаву. — Вы не знаете, что такое Слеза мэра? Вы — сыщик, который слышит камни, и вы не знаете?

— Я знаю много камней, госпожа Марш, — сказал мистер Астор с достоинством. — Но я хотел бы услышать о нём от вас.

Это был правильный ответ. Вдова Марш перевела дух, поправила на шее жемчуг, и голос её стал ниже, торжественнее, будто она рассказывала семейную легенду, которую повторяла много раз:

— Слеза мэра — это соляной кристалл. Вот такой. — Она сложила ладони, показывая размер — примерно с крупное куриное яйцо. — Чистейшей горной соли, прозрачный, как вода, с голубоватым отливом. Он принадлежал Илайасу Венну. Первому мэру Весери-Сити. Тому, кто построил Центральную башню и проложил первые улицы на этих террасах, когда здесь были только скалы и ветер. Мой муж — его прямой потомок по женской линии. Венн отдал этот кристалл своей дочери на смертном одре, и с тех пор он передаётся в нашей семье из поколения в поколение. Двести лет!

— Почему его называют Слезой?

— Потому что он плачет, — сказала вдова Марш. — Точнее... плакал. Говорил. В нём голос. Голос первого мэра. Он держал этот кристалл в руках, когда умирал, и говорил в него — что-то важное, что-то для потомков. И кристалл запомнил. Если взять его в руки в полной тишине и поднести к уху, слышен шёпот. Мой Себастьян говорил, что когда-то, при его деде, шёпот был громким, почти как речь. Можно было разобрать слова. Теперь... — Она замялась. Совсем чуть-чуть, на долю секунды. — Теперь слышно хуже. Он старый. Но это величайшая реликвия города. Её показывали на юбилее Совета. Её хотел купить городской музей. Её хотел купить Совет Потоков! Мой Себастьян отказал всем.

Я записывала. Карандаш скрипел по обороту счёта за чистку дымохода. Я отметила себе ту долю секунды, когда она замялась на слове «теперь».

— Расскажите про вчерашний вечер, — сказал мистер Астор. — По порядку.

— По порядку, — повторила вдова Марш и закрыла глаза, будто вызывая в памяти сцену. — Салон начался в семь. Я всегда начинаю в семь. Двенадцать гостей. Ужин в восемь. Потом музыка в гостиной — у нас был квартет. Слеза стояла в витрине, в гостиной, как всегда, на подставке из горного хрусталя. Все её видели. Все ею любовались. Около десяти... — Она открыла глаза. — Около десяти я подошла к витрине, чтобы показать её госпоже Аверилл, она у нас впервые. А подставка пустая. Витрина заперта, ключ у меня, а подставка пустая.

— Вы обыскали гостей?

Вдова Марш посмотрела на него с ужасом.

— Обыскать? Гостей? Моих гостей? Мистер Астор, это была гостиная Маршей, а не пивная на нижнем ярусе! Там была госпожа Аверилл! Там был советник Дрю с супругой! Там был мой племянник!

— Тогда кто?

— Не знаю! Поэтому я здесь! — Голос её снова сорвался. — Я не вызвала стражу. Я не могу вызвать стражу. Если город узнает, что Слеза пропала из дома Маршей, это... это позор. Это конец. Наша семья берегла её двести лет, а я — я! — потеряла её за один вечер. Мой Себастьян умер в прошлом году, и я ещё года не прожила одна, а уже... — Она закрыла лицо руками.

Мистер Астор беспомощно посмотрел на меня. Я достала из кармана чистый носовой платок — один из двух, что у меня были, — и протянула вдове Марш. Она взяла, не глядя, будто платок материализовался из воздуха, и прижала к глазам.

— Госпожа Марш, — сказала я, когда она немного успокоилась. — Позвольте спросить. Почему в тот вечер в доме не было охраны?

Вдова Марш отняла платок от лица и посмотрела на меня — впервые по-настоящему, как на человека, а не на мебель.

— Откуда вы знаете, что охраны не было?

— Вы сказали, что не вызвали стражу. Но у дома Маршей должна быть своя охрана — у всех домов на Лилейной есть. Если бы она была в тот вечер, вы бы сначала обратились к ней, а не сюда. И вы бы сказали «охрана ничего не видела». Вы этого не сказали.

На чердаке стало тихо. Мистер Астор смотрел на меня. Вдова Марш смотрела на меня. Даже кресло у печки, кажется, смотрело на меня.

— Я отпустила их, — сказала вдова Марш наконец. — Охрану. На тот вечер. — Она отвела глаза. — Мне не хотелось, чтобы они стояли в гостиной. Это... портило атмосферу. Гости не любят, когда на них смотрят чужие.

Это была неправда. Или не вся правда. Я записала: «Отпустила охрану. Почему на самом деле?»

— Кто вы? — спросила вдова Марш, по-прежнему глядя на меня. — Ваше лицо мне кажется знакомым.

— Мисс Гласс, мой секретарь, — сказал мистер Астор прежде, чем я успела ответить.

— Гласс, — повторила вдова Марш, и на мгновение её глаза сузились. Потом она отмахнулась. — Нет. Не может быть. Неважно.

Она повернулась к мистеру Астору, и я перестала для неё существовать — снова.

— Вы возьмётесь? — спросила она. — Вы найдёте её? Мне говорили, вы слышите камни. Если она была в моём доме двести лет, она должна была что-то... оставить там. Голос. След. Что угодно. Вы услышите?

— Я услышу, — сказал мистер Астор. Сказал твёрдо, без колебаний, значительным голосом. — Если Слеза кричала, когда её уносили, — а она должна была кричать, такие кристаллы всегда кричат, — я это услышу.

Вдова Марш выдохнула. Потом открыла сумочку из синего бархата, расшитую соляным бисером, достала оттуда кошелёк и отсчитала — я считала вместе с ней — пять сольдов. Потом подумала и добавила ещё пять. Потом, глядя на холодные трубы, ещё десять.

— Двадцать, — сказала она. — Задаток. Ещё пятьдесят, когда Слеза вернётся ко мне. И ни слова никому. Ни газетам, ни страже, ни этому вашему Ф. М., который пишет о вас глупости.

Двадцать сольдов. Я записала это, стараясь, чтобы карандаш не дрожал. Двадцать сольдов задатка — это почти половина долга агентства. Ещё пятьдесят — это весь долг, жалованье мне на три месяца вперёд и тепло на всю зиму. Я вдруг поняла, что сижу очень прямо, как учила мать, и что пальцы у меня похолодели не от трубы.

— Когда мы можем приехать? — спросил мистер Астор.

— Сейчас, — сказала вдова Марш, поднимаясь. Палантин соскользнул с её плеч, и мистер Астор подхватил его на лету. — Мой экипаж ждёт у часовни. Ближе он не проедет — на этой вашей лестнице. Как вы здесь вообще живёте? Тут же ветер.

— Мы привыкли, — сказал мистер Астор.

Он накинул ей на плечи палантин, взял со стула свой плащ, сунул в карман лупу. Череп, подумав, оставил на столе. Потом посмотрел на меня.

— Мисс Гласс, — сказал он. — Вы со мной.

Это не был вопрос. Но и приказом это не было. Скорее — удивлением, будто он сам не ожидал от себя этих слов.

Я взяла шляпку с гвоздя у люка. Вдова Марш начала спускаться — и тут же, на седьмой ступени, лестница под ней застонала так жалобно, что из своей комнаты на третьем этаже высунулся господин Лоури в ночном колпаке и спросил, не пришла ли за ним тёща.

Я задержалась у люка на секунду. Мистер Астор стоял у стола, застёгивая плащ, и смотрел в сторону кресла. Губы его шевельнулись, но он ничего не сказал вслух.

— Что он говорит? — спросила я шёпотом.

Мистер Астор вздрогнул.

— Финч? — Он помедлил. — Он говорит... что знал Венна. Нет, не может быть. Он говорит, что слышал о нём. — Мистер Астор нахмурился. — Он говорит, что Слеза — это не реликвия. Что это письмо. И что если кто-то её украл, значит, кто-то хочет прочитать то, что в ней написано.

Он посмотрел на меня. Я посмотрела на кресло.

Внизу вдова Марш кричала, чтобы мы поторапливались. Ветер свистел в щели застрявшего окна. Трубы вдоль стены молчали, холодные, как могильный камень.

А я стояла на краю люка с двадцатью сольдами задатка в кармане чужого плаща и впервые за три года не знала, что именно я считаю.

Глава 3

Особняк Маршей

1

Экипаж вдовы Марш ждал у часовни Первого Камня — длинный, чёрный, лакированный, на высоких пружинах, с гербом на дверце: серебряная капля над тремя волнистыми линиями. Капля — Слеза. Волны — река. Я подумала, что вдова, должно быть, смотрит на этот герб каждый раз, садясь в экипаж, и каждый раз теперь вспоминает пустую подставку из горного хрусталя.

Кучер в серой ливрее соскочил с козел и распахнул дверцу. Увидев мистера Астора, он кивнул почти дружески — видимо, слышал о нём. Увидев меня, он на мгновение замешкался, не зная, подать ли мне руку, как даме, или кивнуть, как прислуге. Выбрал середину: просто посторонился.

Внутри экипаж был обит синим бархатом и пах розовым маслом и пудрой. Вдова Марш заняла всё сиденье по ходу движения, разложив вокруг себя палантин. Мистер Астор сел напротив. Я — рядом с ним, у окна, стараясь занимать как можно меньше места. Экипаж мягко качнулся на пружинах и поплыл по Хрустальной улице.

Вдова Марш молчала. Она смотрела в окно, комкая в пальцах мой носовой платок, о котором, видимо, совершенно забыла. Мистер Астор тоже молчал. Он сидел прямо, положив руки на колени, и я видела, как он время от времени чуть заметно морщится, когда экипаж проезжал мимо особенно старых домов. Позже я узнаю, что для него поездка по верхнему ярусу — это как для обычного человека прогулка мимо сотни открытых окон, из каждого из которых кто-то кричит. Старые дома верхнего яруса помнят много. Балы, ссоры, свадьбы, похороны, разорения. Всё это, по словам мистера Астора, звучит, как оркестр, в котором каждый музыкант давно умер, но инструмент продолжает играть.

Я смотрела в окно со своей стороны и считала.

Не потому, что это было нужно. Просто я всегда считаю, когда нервничаю. Фонарные столбы — от часовни до первого поворота их было двадцать два. Балконы с лилиями — тридцать один. Лакеи у подъездов — девять. Механические экипажи, которые нам встретились, — шесть, из них четыре с гербами. Я узнала три герба из четырёх. Я не хотела их узнавать.

Мы свернули с Хрустальной на Аркадную, потом на Звонницу, потом начался подъём к Лилейной террасе. Здесь дорога шла серпантином вдоль скалы, и с каждым поворотом каньон раскрывался всё шире. Отсюда был виден весь город — ярус за ярусом, до самого дна, где светилась река. Отсюда фуникулёры казались игрушечными, а люди на средних ярусах — точками. Отсюда, как говорил мой отец, лучше всего видно, кто в этом городе на самом деле что-то решает.

Я не была здесь три года. Я узнавала всё: каменные вазы с горными лилиями вдоль дороги, кованые ограды, ворота с соляными шарами на столбах. Особняк Вальдемаров на третьем повороте, с башенкой, похожей на перечницу. Особняк Деверо — с колоннами, которые старый Деверо привёз с той стороны каньона и которые, по слухам, обошлись ему дороже, чем сам дом. Сад семьи Лорн, куда мы детьми лазили за мелкими горькими яблоками, растущими только здесь, в сухом горном воздухе.

А на пятом повороте, за высокой оградой из светлого камня, — дом с синими ставнями и двумя каменными журавлями у ворот.

Я отвернулась от окна. Слишком быстро. Мистер Астор, кажется, заметил: я увидела краем глаза, как он повернул голову. Но ничего не сказал.

— Вы бывали здесь раньше, мисс Гласс? — спросила вдова Марш, не отрываясь от своего окна.

— Проезжала, — сказала я.

Это была правда. Двенадцать лет я проезжала здесь каждый день.

Особняк Маршей стоял на самом краю Лилейной террасы, там, где терраса обрывалась в каньон. Это был старый дом — старше, чем большинство соседних, — сложенный из крупных блоков светлого песчаника, потемневших от времени до цвета чайной заварки. Три этажа, высокие узкие окна с переплётами, крыша из соляной корки — настоящей, старой, не той, что кладут теперь, а такой, которая за двести лет стала толстой и полупрозрачной, как лёд, и светилась на закате розовым. Над входом — тот же герб, что на экипаже: капля над волнами, высеченная в камне. Перед домом — небольшой сад с аккуратно подстриженными кустами горного можжевельника и фонтаном, в котором вместо воды тихо пересыпался мелкий белый песок.

У ворот стоял ещё один экипаж — изящный, светло-серый, запряжённый парой механических лошадей на пружинном ходу, последней модели, такие делали только в мастерских Ренна. На дверце — три соляных кристалла под короной.

Вальдемары.

Вдова Марш нахмурилась, увидев его.

— Изольда, — сказала она с досадой. — Я же просила никого не принимать. Она вчера была у меня на салоне, она одна из двенадцати, и вот — приехала. Наверняка опять за сплетнями. Вальдемары всегда первыми узнают о чужих несчастьях. Это у них семейное.

Экипаж остановился. Кучер распахнул дверцу. Вдова Марш вышла первой, опираясь на его руку. Мистер Астор — следом. Я — последней.

И в ту же секунду из дверей особняка вышла молодая женщина.

Высокая, тонкая, в бледно-голубом платье для визитов, с белокурыми волосами, уложенными в модную причёску «каскад», какую в прошлом сезоне ввела жена председателя Совета. На руках — длинные перчатки цвета сливок. Лицо у неё было почти не изменившимся: те же светлые глаза, тот же маленький рот, та же привычка чуть приподнимать подбородок, будто она смотрит на мир через невидимую изгородь.

Изольда Вальдемар. Мы учились у одного учителя музыки, мадам Корвен, с семи до четырнадцати лет. Сидели за одним инструментом, когда мадам Корвен учила нас играть в четыре руки. Изольда играла верхнюю партию, я — нижнюю. Она всегда сбивалась на третьем такте, а я всегда ждала её, отсчитывая паузу, чтобы мы закончили вместе. Однажды, когда нам было по девять, она призналась мне, что боится темноты, а я призналась ей, что не слышу в себе никакого дара. Она обещала никому не говорить. Через неделю об этом знала вся Лилейная терраса.

Мы не виделись с тех пор, как мне исполнилось двадцать два. Ей тогда было двадцать один, и она танцевала на балу в честь моего совершеннолетия, на который я не пришла. Об этом тоже знала вся Лилейная терраса.

Изольда спустилась с крыльца, подошла к вдове Марш, поцеловала воздух у её щеки.

— Корделия, дорогая, — сказала она звонким голосом. — Я не могла не приехать. Я всю ночь не спала. Это ужасно, просто ужасно. Мама велела передать, что она в отчаянии. Если что-то нужно — что угодно...

— Спасибо, Изольда, — сказала вдова Марш сухо. — Ничего не нужно. У меня сыщик.

Изольда повернулась к мистеру Астору. Оглядела его — плащ, манжеты в чернилах, щетину, — и на её лице появилось то выражение лёгкого, вежливого любопытства, с каким на верхних террасах рассматривают уличных акробатов.

— Это и есть знаменитый мистер Астор? — спросила она. — Который слышит камни? Я читала о вас в газете. Это правда, что вы разговариваете с призраками?

— Иногда они разговаривают со мной, — сказал мистер Астор вежливо. — Но редко по делу.

Изольда засмеялась — серебристым, отработанным смехом, которому её учила та же мадам Корвен, что учила нас музыке. Потом её взгляд скользнул дальше. На меня.

Я стояла в двух шагах позади мистера Астора, в своём сером платье с перешитым воротничком, в туфлях, которые жали, с карандашом за ухом, который я забыла вынуть. Изольда смотрела на меня секунду. Две. Три. Я считала. Лицо её не изменилось ни на волос. Ни тени узнавания. Только чуть дрогнули ресницы — так дрожат ресницы у человека, который увидел что-то неприятное и решил, что не видел.

— А это ваша... — Изольда сделала паузу, подбирая слово.

— Мой секретарь, — сказал мистер Астор.

— Как мило, — сказала Изольда. И отвернулась. — Корделия, я заеду завтра. Или пришлю записку. Мама просила узнать, не нужно ли... ну, ты понимаешь. Если что — мы рядом.

Она ещё раз поцеловала воздух у щеки вдовы, кивнула мистеру Астору, прошла мимо меня, не повернув головы — так близко, что меня обдало запахом её духов, «Ночная лилия», флакон стоил шесть сольдов, — и села в свой светло-серый экипаж. Механические лошади мягко тронулись, и экипаж покатился вниз по серпантину.

Я стояла и смотрела ему вслед. Не потому, что мне было больно. Мне не было больно. Мне было... никак. Как бывает никак, когда долго держишь руку в холодной воде и перестаёшь её чувствовать.

Я подумала, что она, конечно, узнала меня. Изольда никогда не была глупой. Она была трусливой, но не глупой. Она узнала меня и решила не узнавать. Потому что узнать Корнелию Гласс, дочь советника, в серой гувернантской одежде, с карандашом за ухом, у дверей чужого дома, значило бы завтра рассказать об этом маме. А мама рассказала бы своей подруге. А подруга — моей матери. А это, наверное, было бы неловко. Для всех.

Так что Изольда меня не узнала. Это было с её стороны почти любезностью.

Я вынула карандаш из-за уха и убрала в карман.

Странно, но в ту минуту я думала не об Изольде, а о мадам Корвен. О том, как она ставила нас с Изольдой рядом за роялем и говорила: «Нижняя партия — это не хуже, чем верхняя, Корнелия. Это фундамент. Без неё верхняя партия — просто красивый шум». Мне было девять, и я ей не верила. Нижняя партия была скучной: аккорды, аккорды, аккорды, а мелодию играла Изольда, и все хвалили Изольду. Но мадам Корвен говорила это каждый урок, и однажды я поверила. Не потому, что убедилась, а потому, что мне больше нечего было выбрать.

Теперь, стоя у ворот особняка Маршей с карандашом в кармане, я вдруг подумала, что мадам Корвен, возможно, была права. Изольда уехала в своём светло-сером экипаже — красивый шум. А я осталась. С блокнотом, со счетами, с сыщиком, который слышит камни.

— Мисс Гласс? — Мистер Астор стоял у крыльца, обернувшись ко мне. Вдова Марш уже поднималась по ступеням. — Вы идёте?

— Иду, — сказала я.

Он посмотрел на меня чуть дольше, чем нужно. На моё лицо. Потом — в сторону, куда уехал экипаж Вальдемаров. Потом снова на меня. Он ничего не спросил. Он вообще не спросил ничего — ни тогда, ни потом. Позже я узнаю, что он заметил всё: как я отвернулась от дома с журавлями, как Изольда не узнала меня, как я вынула карандаш из-за уха. Но он не спросил, потому что, как он сказал мне через много месяцев, «некоторые вещи нельзя спрашивать — их можно только услышать, а вас я не слышу». Тогда я не поняла этих слов. Тогда я вообще ничего о нём не понимала.

Я поднялась по ступеням особняка Маршей следом за ним. На верхней ступени, у самых дверей, стоял дворецкий: высокий, седой, прямой, как столб, в чёрном фраке, с лицом, на котором двадцать лет службы выработали одно-единственное выражение — почтительного терпения. Он поклонился вдове Марш, поклонился мистеру Астору и, после едва заметной паузы, поклонился мне. Чуть ниже, чем кучер. Чуть выше, чем горничной.

Я поклонилась в ответ. Его ботинки были начищены до зеркального блеска. Все, кроме подошв.

2

Гостиная Маршей была из тех комнат, в которых сразу понимаешь, сколько стоит каждый предмет, и сразу же стыдишься того, что понимаешь.

Она занимала почти весь второй этаж южного крыла — длинная, высокая, с тремя окнами до пола, выходящими на каньон. Стены затянуты бледно-зелёным шёлком с узором из ивовых ветвей. Паркет — из горного кедра, уложенный ёлочкой, натёртый до тёмного медового блеска. Под потолком — три люстры, в каждой по двенадцать хрустальных сфер со светящимися медузами; днём медузы спали, свернувшись бледными комочками, и сферы казались пустыми. Вдоль стен — кресла и козетки, обитые тем же зелёным шёлком. У дальней стены — рояль из чёрного дерева, крышка закрыта. Ноты на пюпитре: «Ноктюрн мги», сочинение Аделарда Фонтейна, переложение для квартета.

А в центре комнаты, между вторым и третьим окном, стояла витрина.

Она была сделана из того же чёрного дерева, что и рояль, на четырёх резных ножках в виде журавлиных лап. Стеклянный колпак — не обычное стекло, а горный хрусталь, отшлифованный так, что сквозь него всё казалось чуть резче, чем есть. Внутри, на подушечке из тёмно-синего бархата, стояла подставка — тоже хрустальная, в форме раскрытой ладони. Пустая.

Вдова Марш остановилась в дверях и не пошла дальше. Я увидела, как дрогнули её губы.

— Вот, — сказала она. — Вот здесь.

Мистер Астор пошёл к витрине. Медленно, будто по льду. Я заметила, что он не смотрит на неё, — он смотрит в пол, на стены, на окна, будто прислушивается к комнате целиком, прежде чем подойти к главному.

Я осталась у двери, рядом с вдовой Марш, и достала из сумки блокнот. Настоящий блокнот, не оборот счёта: я купила его утром, по дороге на чердак, в лавке канцелярских товаров у станции № 6, за три медяка. Серый, в клеёнчатой обложке, на сорок листов. Позже их станет много — серых блокнотов, исписанных моим почерком. Но этот был первый.

— Госпожа Марш, — сказала я негромко, — вы позволите мне задать несколько вопросов вашему дворецкому?

Вдова посмотрела на меня рассеянно, будто не сразу вспомнив, кто я.

— Бирсу? Зачем?

— Мистеру Астору нужно знать, как всё было расставлено вчера вечером, — сказала я. — Где кто сидел. Когда что подавали. Это поможет ему... слушать.

Последнее я сказала наугад. Но вдова Марш, кажется, сочла это убедительным.

— Бирс! — позвала она. — Подойдите. Отвечайте мисс... мисс Гласс на всё, что она спросит.

Дворецкий подошёл. Вблизи он оказался ещё выше, чем на крыльце, и ещё седее. Лицо у него было длинное, с глубокими продольными морщинами, как у старой лошади, и такое же терпеливое. Он остановился передо мной, сложив руки за спиной.

— Слушаю, мисс.

— Как вас зовут, господин Бирс? Полностью.

Он чуть удивился. Видимо, его давно никто не спрашивал полного имени.

— Гарольд Бирс, мисс.

— Сколько лет вы служите в этом доме?

— Двадцать один год в феврале, мисс.

— Расскажите мне о вчерашнем вечере, — сказала я. — С самого начала. Во сколько начали приезжать гости?

Гарольд Бирс заговорил. Он говорил так, как говорят хорошие дворецкие, — ровно, точно, без лишних слов, с той особой памятью на детали, которая вырабатывается за двадцать лет наблюдения за чужими приёмами. Я записывала.

Первой, без пяти семь, приехала госпожа Тиммс, давняя подруга хозяйки, — пожилая дама с тростью и слуховым рожком. Ровно в семь — советник Дрю с супругой. В семь пять — супруги Кольвин, он банкир, она бывшая певица. В семь десять — полковник Брэм, в отставке, вдовец. В семь пятнадцать — вдова Сторм с Аркадной улицы. В семь двадцать — молодой поэт Лисандр Фей, которого вдова Марш «опекала», как выразился Бирс, с едва уловимой интонацией. В семь двадцать пять — капитан Орсо, начальник смены на центральной станции фуникулёров. В семь тридцать — госпожа Аверилл, новая знакомая хозяйки, впервые в этом доме. В семь сорок — барышня Изольда Вальдемар. Последним, в восемь без пяти, когда уже садились за стол, — племянник хозяйки, господин Огюст Марш.

— Это одиннадцать, — сказала я, сверившись с записями.

— Двенадцатой была госпожа Ловелл, мисс, — сказал Бирс. — Компаньонка госпожи. Она живёт в доме, но за столом сидела как гостья. Госпожа всегда её сажает за стол на салонах.

Я подняла глаза. В дальнем конце гостиной, у третьего окна, стояла молодая женщина, которую я до этого не заметила. Она стояла так тихо и так неподвижно, что сливалась со шторой. Лет двадцати трёх, худенькая, в тёмно-коричневом платье без украшений, с гладко зачёсанными русыми волосами. Лицо бледное, с острым подбородком и большими светлыми глазами. Руки сложены на животе. Она смотрела не на нас и не на мистера Астора, а в окно — на каньон.

Я записала: «Эфа Ловелл, компаньонка. 12-я».

— Что было дальше? — спросила я.

— В восемь сели за стол, мисс. В малой столовой, через коридор. — Бирс кивнул на дверь в противоположной стене. — Ужин из семи перемен. Суп из горных грибов. Форель с нижнего яруса в соляной корке. Утка с можжевельником. — Он перечислял ровным голосом, как перечисляют полки в кладовой. — Тосты. Первый тост — в восемь двадцать, советник Дрю, за хозяйку. Второй — в восемь сорок, полковник Брэм, за покойного господина Марша. Третий — в девять, господин Огюст, за Слезу мэра.

— За Слезу? — переспросила я.

— Да, мисс. Господин Огюст сказал: «За то, что делает этот дом этим домом». И поднял бокал в сторону гостиной. — Бирс помолчал. — Госпожа была тронута.

Я записала. Племянник, который пьёт за реликвию за час до её пропажи, — это стоило записать.

— В девять пятнадцать вернулись в гостиную, мисс, — продолжал Бирс. — Квартет уже был готов. Четверо музыкантов, приглашённых из «Зеркальной террасы». Сели вот здесь, у рояля. — Он показал. — Гости расположились в креслах. Госпожа — вот в этом кресле, у витрины. Подавали ликёры и засахаренные фрукты.

— Покажите, пожалуйста, кто где сидел.

Он показал. Я быстро набросала в блокноте план гостиной: окна, рояль, витрина, кресла. Кружками — гости. Стрелками — куда они смотрели. Вдова Марш — у витрины, в двух шагах. Справа от неё — госпожа Тиммс со слуховым рожком. Слева — госпожа Аверилл. Советник Дрю с супругой — у первого окна, далеко от витрины. Кольвины — на козетке у стены. Полковник Брэм — у рояля, он любил музыку. Вдова Сторм — рядом с ним. Поэт Лисандр Фей — на полу, на подушке, у ног хозяйки, «как полагается поэту», сказал Бирс без всякого выражения. Капитан Орсо — у второго окна. Изольда Вальдемар — в кресле у камина. Огюст Марш — стоя, у дверей, «он не любит сидеть, мисс, он говорит, что от сидения у него ноги затекают».

— А госпожа Ловелл?

Бирс чуть помедлил.

— Госпожа Ловелл, мисс, была при госпоже. Подавала ей шаль. Приносила ликёр. Ходила по комнате.

— То есть она не сидела на одном месте?

— Нет, мисс. Она редко сидит.

Я поставила в плане рядом с витриной маленький крестик и написала: «Э. Л. — подвижна».

— А вы, господин Бирс? Где были вы?

— У двери, мисс. Вот здесь. — Он показал на место у двери в коридор, в трёх шагах от того места, где стояли мы с вдовой. — Я всегда стою у двери, когда в гостиной гости. Чтобы подавать.

— Всё время?

Он чуть помедлил — едва заметно, на долю секунды, как вчера на чердаке медлила вдова, говоря «теперь».

— Почти всё время, мисс. Я выходил в буфетную за ликёрами. Дважды.

— Когда?

— В девять тридцать и около девяти пятидесяти, мисс.

Я записала. Потом спросила то, что меня больше всего интересовало с той минуты, как я увидела люстры с медузами и ноты на пюпитре.

— Господин Бирс, — сказала я. — «Ноктюрн мги». Его ведь играют в полутьме?

Дворецкий посмотрел на меня с новым выражением. Кажется, это было уважение.

— Да, мисс. Так задумал композитор. На время ноктюрна принято приглушать свет. Мы повернули сферы в люстрах к стене, чтобы медузы светили вполсилы. Госпожа любит, чтобы было как в мге, на закате. Розовато и тихо.

— Во сколько начался ноктюрн?

— В девять сорок, мисс. Он длится семь минут.

— Семь минут полутьмы, — сказала я. — В гостиной, где стоит витрина.

— Да, мисс.

Я подняла глаза от блокнота и посмотрела на вдову Марш. Она стояла рядом, слушая, и лицо у неё медленно бледнело.

— Я об этом не подумала, — сказала она тихо. — Я об этом совсем не подумала. Это было так красиво. Квартет играл, медузы светили розовым, я смотрела на Слезу... Она была там. Я уверена, что во время ноктюрна она была там. Я смотрела на неё. Свет падал на неё сквозь хрусталь, и она чуть светилась. Голубым.

— Вы уверены, что смотрели на неё всё время, госпожа Марш?

Вдова открыла рот. Закрыла его.

— Не всё время, — сказала она. — Лисандр... господин Фей читал мне на ухо свои стихи. Я поворачивалась к нему. И Эфа подавала мне шаль, становилось прохладно. Я надевала шаль. Но я смотрела. Почти всё время.

— А когда вы обнаружили, что её нет?

— Около десяти. Я встала, чтобы показать её госпоже Аверилл поближе. Подошла — а подставка пустая.

— Свет к тому времени уже вернули?

— Да. Сразу после ноктюрна. Бирс повернул сферы.

— Значит, между девятью сорока и девятью сорока семью, — сказала я, — гостиная была в полутьме. Между девятью сорока семью и десятью — при полном свете. А обнаружили пропажу около десяти. — Я посмотрела на витрину. — Витрина заперта. Ключ у вас на шее. Замок цел?

— Цел, — сказала вдова. — Я проверяла. Бирс проверял. Ключ всё время был на мне, я не снимала его даже ночью.

Я подошла к витрине. Мистер Астор стоял рядом с ней, на коленях, приложив ухо к паркету у самой журавлиной лапы. Глаза у него были закрыты. Он не заметил меня — или сделал вид. Я наклонилась над замком.

Замок был маленький, серебряный, с узорной скважиной. Никаких царапин. Никаких следов взлома. Петли стеклянного колпака — тоже целые, чистые. Если бы кто-то вскрывал витрину грубо, это было бы видно. Значит, вскрывали не грубо. Ключом. Или чем-то, что работает как ключ.

О ювелире-оценщике, который за неделю до кражи осматривал эту витрину, я узнаю только к вечеру, из книги визитов. Сейчас я знала только то, что видела: целый замок, целые петли, пустую подставку и семь минут розовой полутьмы, во время которых двенадцать гостей и одна компаньонка слушали ноктюрн.

Я сделала шаг назад и посмотрела на свой план. Двенадцать кружков. Одна звёздочка у витрины. Один крестик, подвижный. Дворецкий у двери, дважды выходивший. Тост за Слезу за сорок минут до ноктюрна. Квартет из театра, где, как я узнаю гораздо позже, кто-то уже начал скупать реактивы для консервации звука.

Тогда я ничего этого не знала. Тогда я просто стояла в зелёной шёлковой гостиной, держа в руках серый блокнот за три медяка, и впервые в жизни чувствовала, что моё умение считать нужно не для того, чтобы кто-то сэкономил на налогах, а для того, чтобы найти что-то, что действительно потерялось.

Это было странное чувство. Мне оно понравилось.

— Тише, — сказал вдруг мистер Астор с пола, не открывая глаз. — Пожалуйста. Все. Тише.

Мы замолчали. Вдова Марш, Бирс, я. Даже Эфа Ловелл у третьего окна, которая и так молчала, казалось, перестала дышать.

Мистер Астор лежал на паркете у витрины, прижав ухо к полу, и лицо у него было белым как бумага.

3

Он лежал так долго, что вдова Марш начала нервно теребить жемчуг.

Я снова считала — на этот раз по маятнику больших напольных часов в углу гостиной, тяжёлых, в корпусе из того же чёрного дерева, что витрина и рояль. Маятник ходил медленно и торжественно, раз в две секунды. Я насчитала сто двадцать качаний. Четыре минуты. Потом двести. Почти семь.

Мистер Астор не шевелился. Только пальцы правой руки, лежавшей на паркете, иногда чуть подрагивали, будто он нащупывал что-то в дереве — трещину, шов, узел. Губы его беззвучно шевелились. Один раз он резко втянул воздух, будто его ударили, и вдова Марш вскрикнула. Он не обратил внимания.

Позже он объяснит мне, что происходило в эти минуты. Не тогда — тогда он ещё не умел объяснять, а я ещё не умела спрашивать. Но через несколько месяцев, сидя на чердаке поздно вечером, когда тепла уже не было и мы оба кутались — он в плащ, я в шаль мадам Пэк, — он рассказал. Я записала это потом в серый блокнот, почти дословно, потому что мне хотелось понять, как это выглядит изнутри.

«Старый дом, — сказал он, — это как колодец. Чем глубже опускаешься, тем старше голоса. Сверху — вчерашний день, он громкий, яркий, его слышно сразу. Чуть ниже — прошлая неделя, прошлый месяц. Ещё ниже — годы. А на самом дне — то, что было, когда дом только строили: удары кирок, песни каменщиков, ругань подрядчиков. В доме Маршей колодец глубокий, двести лет. И когда я лёг на пол, на меня сначала обрушилось всё сразу. Двести лет балов, ужинов, ссор, похорон, свадеб. Двести лет людей, которые смеялись в этой гостиной и плакали в ней. Это как если бы вас столкнули в реку и одновременно на вас вылили сто вёдер

воды. Надо сначала не утонуть. Потом — найти верх и низ. Потом — найти вчерашний вечер. Потом — найти в нём одну ноту».

Вот это он и делал, пока я считала качания маятника.

На сто восемьдесят седьмом качании он заговорил. Не открывая глаз, не поднимая головы, тихо, будто сам с собой:

— Музыка. Скрипка. Две скрипки, альт, виолончель. Медленно. Красиво. Темнее... стало темнее. Шорох — платья. Много платьев. Кто-то кашлянул. Кто-то... шепчет. Стихи? Плохие стихи. — Уголок его рта дёрнулся. — Очень плохие стихи. Про луну и соль.

Вдова Марш покраснела.

— Сердца, — продолжал мистер Астор. — Много сердец. Спокойные. Одно быстрое. Очень быстрое. Где? Не могу... рядом. Совсем рядом. — Его пальцы сжались на паркете. — Шёлк. Шёлк скользит по стеклу. И щелчок. Тихий. Как... как будто закрыли табакерку.

Я записала: «Щелчок — тихий. Во время ноктюрна».

— А потом...

Он замолчал. Лицо у него вдруг исказилось — не от боли, а от чего-то похожего на испуг. Он резко поднял голову от пола, будто его ужалили, и снова прижался ухом, теперь уже к другому месту — ближе к двери, ведущей в коридор.

— Кричит, — сказал он. — Она кричит.

— Кто? — прошептала вдова Марш.

— Слеза. — Он открыл глаза. Они были мокрые, красные по краям, и смотрели не на нас, а куда-то сквозь пол, вниз. — Она кричит. Не как человек. Как... как кристалл, когда его вынимают из места, где он стоял двести лет. Она привыкла к этой подставке, к этой комнате, к этим стенам. Её оторвали — и она закричала. Тонко, высоко, как стекло, когда по нему проводят ногтем. Никто из вас не мог этого услышать. Это не для ушей. Но стены услышали. Стены помнят.

Он встал на четвереньки, потом на колени, не отрывая ладони от пола, и пополз — медленно, как слепой, нащупывающий дорогу, — к двери в коридор. Вдова Марш отступила, давая ему дорогу. Бирс не шелохнулся. Эфа Ловелл у окна стояла неподвижно, только пальцы, сложенные на животе, сжались чуть сильнее.

— Сюда, — сказал мистер Астор у порога. — Крик идёт сюда. Удаляется. Кто-то несёт её... прочь.

Он выполз в коридор. Мы пошли за ним — вдова, я и, после секундного колебания, Бирс. Это было, должно быть, удивительное зрелище: сыщик в длинном светлом плаще, ползущий на четвереньках по ковровой дорожке особняка на Лилейной террасе, а за ним — хозяйка в мехах, секретарь с блокнотом и дворецкий во фраке. Если бы Ф. М. это видел, вышла бы прекрасная колонка. Я подумала, что никогда ему об этом не расскажу.

Коридор вёл направо — к парадной лестнице и налево — к служебной. Мистер Астор, не поднимая головы, повернул налево.

— Сюда, — сказал он. — Вниз.

Служебная лестница была узкой, каменной, без ковра, и пахла воском и кухней. По ней в дом носили дрова, бельё, подносы с ужином. По ней спускалась прислуга. Мистер Астор остановился на верхней ступени и прижал ладонь к стене.

— Вниз, — повторил он. — Крик уходит вниз. Слабеет. Её чем-то обернули... ткань. Плотная. Но она всё равно кричит. Вниз. Через кухню. Мимо кладовой. К заднему двору.

— Служебный ход, — сказал Бирс глухо. Это были его первые слова за всё время. — Задняя дверь выходит на хозяйственный двор. Оттуда — калитка в переулок. Ею пользуется прислуга и поставщики.

Вдова Марш повернулась к нему с таким выражением, будто он лично украл Слезу у неё из рук. Бирс стоял прямо, и лицо его не изменилось ни на волос. Но я, стоявшая ближе, увидела, как у него на виске дёрнулась жилка — так же, как у мистера Астора, когда тот слушал.

Мы спустились. Через кухню, где кухарка и две горничные замерли у плиты, глядя на нас с ужасом.

Кухарка — дородная женщина в белом чепце, с руками, красными от горячей воды, — уронила в кастрюлю половник, и бульон плеснул на плиту, зашипев. Младшая горничная, совсем девочка, лет пятнадцати, прижала ладони к щекам. Старшая сделала охранный знак, как делают на нижних ярусах: схватила с полки щепоть соли и бросила через левое плечо.

— Госпожа, — прошептала кухарка. — Это что же... это он слушает? Прямо тут? У меня на кухне?

— Тише, Марта, — сказал Бирс таким голосом, каким, наверное, говорил с ней двадцать лет. — Он работает.

Мистер Астор полз по каменному полу кухни, мимо плиты, мимо разделочного стола, на котором лежала нарезанная наполовину утка, и прижимал ладонь к каменным плитам. Я шла следом и думала о том, что в этой кухне тоже двести лет голосов: кухарки, поварята, судомойки, ругань из-за пригоревшего соуса, песни над тестом, слёзы над луком. Он слышал их все. И среди них искал один тонкий крик кристалла.

— Здесь шла быстро, — пробормотал он. — Здесь почти бежала. Кто-то нёс её быстро. Но осторожно. Мимо кладовой. К задней двери. Мистер Астор приложил ладонь к дверному косяку и стоял так, наверное, минуту.

— Здесь ещё слышно, — сказал он наконец. — Слабо. Дальше...

Он открыл дверь и вышел на хозяйственный двор. Двор был вымощен старым камнем, весь в щербинах, заставлен бочками и ящиками. В дальнем конце — калитка в каменной ограде. Мистер Астор дошёл до калитки, прижал ладонь к столбу, потом к земле. Потом выпрямился и долго стоял, глядя в переулок за калиткой.

Переулок уходил вниз. Узкий, крутой, мощённый ступенями, он спускался с Лилейной террасы куда-то к Звоннице, а оттуда — к станциям фуникулёров, к средним ярусам, к нижним.

— Дальше я не слышу, — сказал мистер Астор. — Здесь улица. Тысячи людей прошли за ночь. Повозки, экипажи, ветер. Её крик утонул. Но... — Он помолчал, и я увидела, что у него из носа течёт тонкая тёмная струйка. Он не замечал. — Но я слышал направление. Последнее, что я слышал. Она уходила вниз. Не на соседнюю террасу. Не на Хрустальную. Вниз. Всё ниже и ниже. Туда, где громче река.

Он повернулся к нам. Вдова Марш стояла у задней двери, держась за косяк. Бирс — за её плечом. Я — на ступеньке крыльца, с блокнотом в руках.

— Госпожа Марш, — сказал мистер Астор торжественно, и голос у него снова стал тем, «для клиентов», значительным и глубоким, — ваша Слеза покинула верхний мир. Её унесли вниз. В нижние ярусы, к реке, туда, где свет медуз и голоса воды. Она там. Я это слышал.

Вдова Марш покачнулась. Бирс подхватил её под локоть. Она не упала, но лицо у неё стало серым, как пепел.

— Вниз, — прошептала она. — На нижние ярусы. Слеза мэра. На рынок. К этим... к перекупщикам. Её продадут. Её разобьют. Её...

— Не продадут, — сказал мистер Астор, и голос его стал мягче. — Не сразу. Тот, кто её взял, знал, что берёт. Он обернул её тканью. Он нёс её осторожно, я слышал, — крик был ровный, без ударов, её не роняли и не трясли. Тот, кто так обращается с кристаллом, не станет его разбивать. Он её бережёт. Для чего-то.

Я записала: «Бережёт. Для чего-то».

Вдова Марш, кажется, немного пришла в себя. Она выпрямилась, отняла локоть у Бирса и сказала с прежней надменностью, сквозь которую, впрочем, сочился страх:

— Тогда найдите её. Немедленно. Найдите, пока она не... пока её не...

— Найду, — сказал мистер Астор.

И тут он наконец заметил кровь. Коснулся пальцами верхней губы, посмотрел на них, нахмурился, будто кровь была чужой, и полез в карман за платком. Платка в кармане не оказалось. Он похлопал по другому карману. Тоже пусто.

Я спустилась с крыльца, подошла и протянула ему свой второй носовой платок. Первый так и остался у вдовы Марш — она по-прежнему комкала его в руке, видимо, забыв, что он не её.

Мистер Астор посмотрел на платок. Потом на меня.

— Это ваш последний? — спросил он тихо, так, чтобы не слышала вдова.

— У меня было два, — сказала я.

— Я верну, — сказал он.

— Вы вернёте его в крови, — сказала я. — Его придётся отдавать вдове Хобб. Она прачка. Она возьмёт за это полмедяка и всю правду о вашей личной жизни. Оставьте себе.

Он взял платок и прижал к носу. Над платком его серые грозовые глаза смотрели на меня, и в них было что-то похожее на смех. И ещё что-то.

— Вы всё считаете, — сказал он глухо, сквозь ткань.

— Всё, — согласилась я.

— Сколько тогда стоит этот платок?

— Две крупицы, если новый, — сказала я. — Одна, если с ним уже были на месте преступления. Он теперь улика. Улики дешевеют.

Он засмеялся. Прямо там, на заднем дворе особняка Маршей, с моим платком у лица, — засмеялся тем же хриплым мальчишеским смехом, что и вчера на чердаке. Вдова Марш посмотрела на него как на сумасшедшего. Бирс деликатно отвернулся.

А я, кажется, впервые за этот день улыбнулась по-настоящему.

Тогда я ещё думала, что это и был главный результат его слушания: «вниз, к реке», «её бережёт». Я не знала, что важнее было другое — то, что он сказал в самом начале, на полу гостиной, когда слушал ноктюрн. «Сердца. Много сердец. Одно быстрое. Очень быстрое. Совсем рядом». И щелчок, тихий, как у табакерки.

Тогда мы оба пропустили это мимо ушей. Он — потому что был занят криком Слезы. Я — потому что была занята им.

4

Мы вернулись в гостиную, и вдова Марш велела подать чай.

Это было, как я теперь понимаю, единственное, что она могла сделать. Когда на верхних террасах случается что-то непоправимое — умирает муж, разоряется банк, пропадает двухсотлетняя реликвия, — первым делом подают чай. Это не утешение. Это ритуал, который позволяет делать вид, что жизнь продолжается в прежнем порядке: чашки на своих местах, сахар в сахарнице, ложечки по правую руку. Моя мать велела подать чай, когда мне было шестнадцать и последний целитель объявил, что дара во мне нет и не будет. Мы сидели в голубой гостиной и пили чай, и мать спрашивала, не хочу ли я ещё печенья. Я хотела. Я съела три.

Мистер Астор сел в кресло у камина — то самое, где вчера, по словам Бирса, сидела Изольда Вальдемар, — и откинул голову на спинку. Глаза у него были закрыты, мой платок он всё ещё прижимал к носу, хотя кровь, кажется, уже остановилась. Лицо серое, под глазами тени. Он выглядел так, будто только что поднялся пешком с самого дна каньона. В каком-то смысле так и было.

Вдова Марш села на козетку у окна и смотрела на пустую витрину. Бирс отправился на кухню распорядиться насчёт чая.

А я осталась у витрины.

Мне не давала покоя одна вещь. Пока мистер Астор лежал на полу, я стояла рядом и смотрела на бархатную подушечку под хрустальной подставкой. Тёмно-синий бархат, чуть вытертый по краям. На таком бархате видно всё: каждую пылинку, каждый волосок. А на этом, у самого края, со стороны, обращённой к окну, было что-то ещё.

Я наклонилась к стеклу. Колпак был заперт, открыть его я не могла. Но горный хрусталь, отшлифованный так, что сквозь него всё казалось чуть резче, на этот раз сыграл мне на руку. Я видела ясно.

Крошки. Несколько крошек, мельче макового зерна. Красноватые. Не белые, как соль, из которой сложены стены этого дома. Не голубоватые, как сама Слеза. Именно красноватые, тускло-бурые, как сухая глина. Три — у края подушечки. Одна — на самом стекле внутри колпака, прилипшая к нижнему краю.

Я посмотрела на замок. Потом на петли. Потом снова на крошки.

Значит, колпак открывали. Не просто открывали — кто-то просунул внутрь руку. Руку, на которой была глина. Или перчатку, на которой была глина. Или рукав.

— Госпожа Марш, — сказала я. — Можно мне ключ? На минуту.

Вдова Марш посмотрела на меня с подозрением.

— Зачем?

— Внутри витрины что-то есть. Я хотела бы это взять. Для мистера Астора.

Последние слова, как я уже успела понять, действовали безотказно. Вдова сняла цепочку с шеи — медленно, неохотно, будто снимала с себя кожу — и протянула мне маленький серебряный ключ. Я открыла замок. Он открылся легко, мягко, с тихим щелчком.

Тихим. Как у табакерки.

Я замерла с ключом в замке. Где-то в памяти шевельнулось: «Шёлк скользит по стеклу. И щелчок. Тихий». Я обернулась к мистеру Астору. Он сидел с закрытыми глазами и ничего не заметил.

Я подняла колпак. Достала из сумки сложенный вчетверо лист бумаги — чистый, из моего нового блокнота, — и шпилькой, вынутой из волос, аккуратно смела крошки на бумагу. Четыре крошки. Я сложила лист конвертом, как когда-то учила меня мадам Корвен складывать записки, чтобы ничего не высыпалось, надписала карандашом «Витрина. Красн. крошки. Внутри» и убрала в блокнот.

Потом закрыла колпак, заперла замок и вернула ключ вдове. Она надела цепочку обратно, не глядя на меня. Пальцы у неё дрожали.

— Что там было? — спросила она.

— Пыль, — сказала я. — Возможно, важная. Мистер Астор посмотрит.

Это была не совсем правда. Мистер Астор ничего не посмотрел. Он вообще не узнал об этих крошках до самой ночи, когда я наконец положила их перед ним на стол, — а тогда он уже не хотел ничего видеть, кроме того, что придумал сам. Но тогда я ещё не знала, что так получится. Тогда я просто думала, что расскажу ему вечером, на чердаке, когда он придёт в себя.

Вошёл Бирс с подносом. За ним — горничная с другим подносом, на котором стояли чайник, сахарница и молочник из тонкого фарфора с тем же гербом — каплей над волнами. Бирс поставил свой поднос на столик у козетки и начал расставлять чашки.

Я смотрела, как он двигается. Двадцать один год службы — в каждом движении: чашка на блюдце, ручкой направо, ложечка параллельно ручке, сахарница чуть левее центра. Он был великолепен. Он был идеальной машиной для подачи чая. Когда он наклонился, чтобы поставить чашку перед вдовой, полы фрака разошлись, и я увидела его ботинки сбоку.

Носки начищены до зеркального блеска, как я и заметила на крыльце. А подошвы — нет. На подошвах, в рифлёных канавках, засохла глина. Серая, плотная, с мелкими вкраплениями чего-то блестящего — песка или слюды.

Не красная. Серая.

Тогда я не придала этому значения. Глина есть глина, подумала я. В конце концов, Бирс выходит на хозяйственный двор, а двор вымощен старым камнем, между которым наверняка забилась грязь. Я записала в блокнот: «Бирс — глина на подошвах», и не уточнила цвет.

Это была моя первая ошибка в этом деле. Не последняя.

Потом Бирс выпрямился и отошёл к двери, на своё место. Вдова Марш взяла чашку, но не пила, а держала обеими руками, как держат грелку.

— Мой Себастьян, — сказала она вдруг, ни к кому не обращаясь, — показывал гостям фокусы. С монетами. Вы знали? Он мог вынуть сольд из-за уха у любого ребёнка на Лилейной террасе. На детских праздниках его ждали больше, чем сладкого. Он говорил, что научился этому у деда, а дед — у своего деда. Будто бы сам Венн умел так делать. — Она слабо улыбнулась. — Это, конечно, неправда. Себастьян любил придумывать.

Я помнила. Я помнила высокого худого старика с длинными седыми усами, который наклонился ко мне на чьём-то дне рождения — мне было лет семь — и вынул у меня из-за уха серебряную монету, а потом отдал её мне. Я хранила её два года, пока не потеряла. Он тогда сказал: «Вот видишь, у тебя за ухом целое сокровище, а ты и не знала». Мне никто никогда больше не говорил ничего подобного.

Я не сказала об этом вдове. Не могла. Сказать — значило объяснить, откуда я знаю Себастьяна Марша, на чьём дне рождения я была, почему меня туда пригласили. Значило перестать быть секретарём сыщика и снова стать дочерью советника.

— Он, наверное, был очень добрым человеком, — сказала я вместо этого.

Вдова Марш посмотрела на меня. Впервые за весь день — не как на мебель и не как на помеху, а как на собеседника.

— Он был невыносимым человеком, — сказала она. — Упрямым, рассеянным, вечно опаздывал к обеду. Он разговаривал со Слезой. Каждый вечер, перед сном, подходил к витрине и говорил ей «спокойной ночи». Как ребёнку. — Она замолчала и поставила чашку на блюдце, так и не отпив. — Я рада, что он не дожил до этого. Он бы не перенёс.

Я ничего не ответила. Иногда самое вежливое, что можно сделать, — промолчать и подлить человеку горячего чая. Я подлила.

И в этот момент в гостиную вошла Эфа Ловелл. Я не видела, как она ушла от окна, — она просто оказалась на кухне и вот теперь вернулась, неся маленький серебряный поднос с засахаренными фруктами. Она подошла к вдове и поставила поднос на столик, рядом с чайником.

— Ваши любимые, госпожа, — сказала она. Голос у неё был тихий, чуть хрипловатый, будто она давно не говорила вслух. — Абрикосы и горная вишня.

Вдова Марш рассеянно кивнула, не глядя на неё.

Эфа выпрямилась. Её руки — я заметила это, потому что смотрела на руки всех в этой комнате, — были красными, обветренными, с потрескавшейся кожей на костяшках. Так выглядят руки человека, который часто моет их в холодной воде. Или долго стоит на холодном ветру. Руки компаньонки на Лилейной террасе так выглядеть не должны: компаньонки подают шали и читают вслух, а посуду моют горничные. Я хотела это записать. Я уже поднесла карандаш к блокноту.

Потом Эфа подняла на меня глаза.

Это был короткий взгляд, не дольше секунды. Светлые глаза, большие, почти прозрачные, с тёмными кругами под ними, будто она не спала ночь. В них не было ни страха, ни вызова. В них было что-то другое — что-то, что я узнала мгновенно, потому что видела это в зеркале каждое утро последние три года.

Это был взгляд человека, которого никто не замечает. Человека, который стоит у окна, сливаясь со шторой, и знает, что, если он исчезнет, никто не спросит, куда. Взгляд человека, который всю жизнь подаёт чужие шали и знает, что никогда не наденет свою.

Эфа отвела глаза и отошла к своему окну. Встала там, сложив красные руки на животе, и снова стала частью шторы.

Я опустила карандаш.

Позже, через много дней, я буду думать об этой секунде и спрашивать себя: почему я не записала? Я записывала всё. Я записала тост Огюста Марша и стихи поэта Фея. Я записала, что Бирс дважды выходил в буфетную. Я записала цвет бархата на подушечке. Я не записала руки Эфы Ловелл.

Я думаю, это было что-то вроде солидарности. Глупой, неосознанной, непрофессиональной солидарности двух незаметных женщин в зелёной шёлковой гостиной, где все остальные были заметны. Я посмотрела на неё и не захотела, чтобы она стала строчкой в моём блокноте. Я не хотела делать с ней то, что делали со мной всю жизнь: замечать только тогда, когда что-то пропало.

Тогда я не понимала, что это и есть самый верный способ что-то пропустить.

В блокноте за этот день у меня остались три записи, которые потом окажутся главными. Первая: «Бирс — глина на подошвах». Вторая: «Витрина. Красн. крошки. Внутри». Третьей записи не было. На её месте осталась пустая строчка, которую я потом, через несколько дней, заполню мелким почерком, с нажимом, почти прорвав бумагу: «Эфа Ловелл. Руки».

Но это будет потом.

А тогда я просто взяла чашку чая, которую протянул мне Бирс — чашку с гербом, из тонкого фарфора, лучшего, чем был в доме моих родителей, — и села на край козетки, рядом с вдовой Марш. Мистер Астор у камина открыл глаза и посмотрел на меня. Я кивнула ему: всё в порядке. Он кивнул в ответ и снова закрыл глаза.

За окнами гостиной, на краю каньона, солнце перевалило за полдень. Медузы в люстрах спали. Где-то внизу, на нижних ярусах, у реки, лежала завёрнутая в плотную ткань Слеза мэра, и тот, кто её унёс, берёг её для чего-то.

А у третьего окна стояла тихая девушка с красными руками и смотрела на каньон так, будто ждала, что он ей ответит.

Глава 4

Двенадцать гостей и одна ложь

1

Допрашивать решили по одному, в маленькой комнате рядом с гостиной, которую в доме Маршей называли «кабинетом покойного господина». Это была идея мистера Астора. Точнее, идея была моя, но высказал её он, и высказал так убедительно, что вдова Марш согласилась сразу.

Произошло это так. После чая, когда мистер Астор немного пришёл в себя и кровь из носа окончательно остановилась, он встал, прошёлся по гостиной, постоял у витрины, у рояля, у окон, и наконец объявил, что ему нужно «послушать людей». Вдова Марш спросила, каких людей. Мистер Астор сказал: «Всех». Вдова Марш сказала, что гости разъехались ещё вчера ночью и она не собирается вызывать советника Дрю на допрос, как карманника. Мистер Астор растерялся.

Я подошла к нему и тихо сказала:

— Начните с тех, кто в доме. Прислуга, компаньонка, племянник, если он здесь живёт. И с самой госпожи Марш. Гостей можно потом. По одному. В отдельной комнате, где нет посторонних. Тогда они скажут больше.

Мистер Астор посмотрел на меня, потом повернулся к вдове и произнёс почти слово в слово, только значительным голосом:

— Госпожа Марш. Мне нужно поговорить с теми, кто живёт в этом доме. Каждым в отдельности. В комнате, где нет посторонних ушей и посторонних голосов. Только так я услышу правду.

Вдова Марш, подумав, предложила кабинет. Мистер Астор поблагодарил её поклоном и, проходя мимо меня, едва заметно подмигнул. Я сделала вид, что не заметила. Но в блокноте отметила: «Подмигивает. Не всегда уместно».

Кабинет покойного господина Марша был маленьким, тёплым и пах табаком, который никто не курил уже год. Книжные шкафы до потолка, письменный стол с зелёным сукном, два кресла, кушетка у окна. На столе — всё, как, видимо, оставил хозяин: пресс-папье в виде соляного журавля, нож для бумаг, стопка нераспечатанных писем, перевязанных лентой, колода карт в бархатном футляре. Последнее меня тронуло: фокусы с монетами, фокусы с картами. Человек, который вынимал сольды из-за ушей у чужих детей.

Мистер Астор сел за стол — в кресло хозяина. Я хотела сесть на кушетку, в угол, чтобы не мешать, но он покачал головой и показал на второе кресло, рядом с собой, сбоку от стола.

— Здесь, — сказал он. — Чтобы я вас видел.

— Зачем?

Он подумал.

— Не знаю, — сказал он честно. — Мне так спокойнее.

Я села.

Пока вдова Марш распоряжалась, чтобы к нам по очереди присылали домочадцев, мистер Астор взял со стола колоду карт в бархатном футляре, вынул её и медленно перетасовал. Карты были старые, с потёртыми рубашками, на которых был нарисован тот же герб — капля над волнами. Он тасовал их неловко: две карты выскользнули и упали на сукно. Король бубен и дама треф. Он посмотрел на них, хмыкнул и положил обратно.

— Он здесь сидел каждый вечер, — сказал он негромко, не глядя на меня. — Покойный господин Марш. Раскладывал пасьянсы и разговаривал сам с собой. Я слышу. Тихо, но слышу. Он говорил картам «ну же, ну же, голубушка», когда пасьянс не сходился. И смеялся, когда сходился. — Мистер Астор положил колоду в футляр. — Хороший был голос. Тёплый.

— Вы слышите это всё время? — спросила я. — В каждой комнате?

— В каждой. — Он пожал плечами. — В старых домах больше, в новых меньше. На чердаке у мадам Пэк есть Финч, и от него никуда не деться. Здесь — господин Марш и его пасьянсы. В гостиной — двести лет приёмов. В кухне — двести лет кухарок. — Он помолчал. — Иногда это даже приятно. Как будто дом рассказывает о себе. Но иногда хочется, чтобы все замолчали. Хотя бы на минуту.

— А сейчас?

Он посмотрел на меня. Странно посмотрел — будто вопрос застал его врасплох.

— Сейчас тише, — сказал он. — Почему-то.

Я хотела спросить почему. Но в дверь постучали.

Первым пришёл Бирс.

Он вошёл, закрыл за собой дверь и остановился в двух шагах от стола, сложив руки за спиной, прямой, как в гостиной. Садиться он не стал, хотя мистер Астор предложил ему кушетку. Дворецкие не садятся в кабинете хозяина, даже если хозяин мёртв, а за столом сидит чужой человек.

— Господин Бирс, — начал мистер Астор. — Вы служите в этом доме двадцать один год?

— Двадцать один год в феврале, сэр.

— Значит, вы хорошо знаете Слезу мэра.

— Знаю, сэр. Я вытираю с витрины пыль каждое утро. Уже двадцать один год.

— Вы когда-нибудь держали её в руках?

Бирс помолчал.

— Однажды, сэр. Пятнадцать лет назад. Покойный господин уезжал на воды и велел перенести витрину в сейф. Я переносил. Кристалл я нёс в ладонях, на бархатной подушке. Он был тёплый.

— Тёплый? — переспросил мистер Астор с внезапным интересом.

— Тёплый, сэр. Как живой. — Бирс чуть помедлил. — И он шептал. Я не разобрал слов. Но шептал. Покойный господин сказал, что так бывает, когда Слеза волнуется. Что она не любит, когда её трогают чужие.

Я записала. Мистер Астор задумчиво постучал пальцами по зелёному сукну.

— А вчера, господин Бирс. Расскажите ещё раз, где вы были во время ноктюрна.

— У двери, сэр. В гостиной.

— Всё время?

— Во время ноктюрна — всё время, сэр. — Голос дворецкого не изменился ни на тон. — Я выходил в буфетную дважды, но до и после. Во время музыки прислуга не выходит. Это неприлично.

— Вы видели, кто подходил к витрине? В полутьме?

— Многие подходили, сэр. — Бирс говорил ровно, глядя на стену над головой мистера Астора. — Госпожа сидела рядом. Господин Фей сидел у её ног. Госпожа Ловелл приносила шаль. Господин Огюст стоял у дверей, но в середине ноктюрна прошёл через комнату к окну, чтобы открыть форточку. Было душно. Госпожа Аверилл вставала поправить юбку. Полковник Брэм ходил к роялю, чтобы перевернуть ноты музыкантам, — он всегда так делает, он любит музыку. Было темно, сэр. Розово и темно. Все двигались.

— А вы? Вы двигались?

— Нет, сэр. Я стоял у двери.

Мистер Астор закрыл глаза и положил ладонь на стол. Я уже начала узнавать это движение. Он слушал. Не Бирса — стены кабинета, пол, мебель. Слушал, как звучит в этой комнате голос дворецкого, и, может быть, как звучали здесь другие голоса за двадцать один год.

— Господин Бирс, — сказал он, не открывая глаз. — Где вы были вчера днём? До приёма.

Вот тут дворецкий впервые запнулся. Совсем чуть-чуть. Если бы я не смотрела на его руки, я бы не заметила. Но я смотрела. Руки, сложенные за спиной, сжались — так, что побелели костяшки, видные мне сбоку.

— Я был в доме, сэр. Готовил приём.

— Весь день?

— Почти весь, сэр. Я выходил утром.

— Куда?

— По делам, сэр.

— По каким делам?

Пауза. Маятник часов в гостиной за стеной отбил два качания.

— По своим, сэр.

Мистер Астор открыл глаза.

— Господин Бирс, — сказал он мягко. — У вас на подошвах глина.

Дворецкий посмотрел на свои ботинки. Я тоже посмотрела. С того места, где я сидела, глина была видна отлично: серая, засохшая в рифлёных канавках, с блёстками.

— Я гулял, сэр, — сказал Бирс.

— Где?

— По окрестностям, сэр.

— На Лилейной террасе нет глины, господин Бирс. Здесь камень, песок и садовая земля. Садовая земля — чёрная. А у вас на подошвах глина, и она не отсюда.

Я подняла глаза. Это было хорошо сказано. Это было, честно говоря, очень хорошо сказано — для человека, который ещё вчера не мог разобраться в собственных счетах. Мистер Астор, кажется, это тоже понял, потому что слегка выпрямился в кресле.

Бирс молчал. Лицо у него было неподвижным. Только жилка на виске, которую я заметила ещё на заднем дворе, снова начала биться.

— Я гулял, сэр, — повторил он. — По окрестностям. Это моё личное время. У меня бывает личное время раз в неделю, по понедельникам. Вчера был понедельник. Я гулял.

— Где? — повторил мистер Астор.

— Я не обязан отвечать на этот вопрос, сэр.

Это было сказано не грубо. Это было сказано так, как говорят люди, которые двадцать лет не позволяли себе ничего лишнего и вот впервые позволили. Голос Бирса не дрогнул, но что-то в нём сломалось — тихо, как ломается старая ветка, на которую слишком долго давил снег.

Мистер Астор посмотрел на меня. Я едва заметно покачала головой: не дави. Не сейчас. Он, кажется, понял.

— Хорошо, господин Бирс, — сказал он. — Благодарю вас. Вы можете идти.

Бирс поклонился — так же ровно, как кланялся на крыльце, — и вышел. Дверь за ним закрылась без единого звука.

Мистер Астор откинулся на спинку кресла и выдохнул.

— Он лжёт, — сказал он.

— Он что-то скрывает, — поправила я. — Это не одно и то же.

— Есть разница?

— Лгут, чтобы получить что-то. Скрывают, чтобы что-то защитить. — Я посмотрела на дверь. — Он не врал про ноктюрн. Он врал только про понедельник.

Мистер Астор задумчиво посмотрел на меня.

— Откуда вы знаете?

— Когда он говорил про ноктюрн, у него руки были спокойные. Когда про понедельник — сжались. — Я пожала плечами. — Это не магия. Просто руки.

— А я слышал, — сказал он медленно, — как в этой комнате, когда он говорил про понедельник, стены... не знаю, как сказать. Сжались. Как будто им стало тесно. Это страх. Он боится. Очень боится.

— Чего?

— Не знаю. — Он потёр переносицу. — Страх не говорит, чего боится. Он просто боится.

Мы помолчали. В тишине кабинета было слышно, как за стеной, в гостиной, вдова Марш что-то резко говорит горничной, а горничная отвечает дрожащим голосом. Где-то внизу хлопнула дверь. С улицы донёсся звонок фуникулёра, далёкий, как из другого мира.

— Глина, — сказал мистер Астор задумчиво. — Глина не отсюда. Слеза ушла вниз, к реке. Он ходит по понедельникам куда-то, где есть глина. Вчера был понедельник.

Я открыла блокнот на странице с надписью «Бирс — глина на подошвах». Посмотрела на неё. Рядом лежал сложенный конвертом лист с красными крошками из витрины. Я хотела сказать что-то — о том, что в витрине глина была красной, а у Бирса серой. Я даже открыла рот.

Но в этот момент в дверь постучали — быстро, нетерпеливо, дробно, четыре коротких удара, — и, не дожидаясь ответа, в кабинет вошёл молодой человек, от которого пахло так, что мистер Астор чуть заметно поморщился, а я сразу поняла, где он провёл прошлую ночь.

— Вы меня вызывали? — весело спросил Огюст Марш. — Говорят, вы слышите камни. Надеюсь, они не наговорили обо мне ничего лишнего?

Я закрыла рот и закрыла блокнот. Красные крошки остались в нём, сложенные конвертом.

Это была моя вторая ошибка в этом деле.

2

Огюст Марш был из тех молодых людей, про которых на верхних террасах говорят «очаровательный», а на средних — «пропащий». Ему было около тридцати. Высокий, с тонким лицом, светлыми волнистыми волосами, небрежно зачёсанными назад, и глазами того неопределённого серо-голубого цвета, который в зависимости от освещения кажется то мечтательным, то хитрым. Одет он был дорого и небрежно: бархатный сюртук винного цвета, шёлковый шейный платок, завязанный кое-как, жилет с вышивкой. Всё хорошее, всё модное, всё — чуть-чуть несвежее. Как будто он не переодевался со вчерашнего вечера. Так и было: я узнала сюртук, Бирс описал его, перечисляя гостей.

От него пахло. Я не сразу разобрала все составляющие этого запаха, но мистер Астор, сидевший рядом со мной, поморщился сразу, а я, вдохнув второй раз, поняла. Табачный дым — не дорогой, сигарный, а дешёвый, трубочный, такой, каким дымят в низких залах с закопчённым потолком. Кислое вино. Пот. И что-то ещё, сладковато-солёное, — запах жареных соляных хлопьев, которые подают бесплатно в игорных домах, чтобы гости больше пили.

Я знала этот запах. Я однажды, в шестнадцать лет, искала по просьбе матери одного нашего дальнего родственника, который не пришёл к обеду, и нашла его в игорном доме на Звоннице. От него пахло точно так же. Мать тогда сказала, что я не должна была туда заходить. Я сказала, что иначе я бы его не нашла. Мы обе были правы.

— Садитесь, господин Марш, — сказал мистер Астор.

Огюст сел — не на кушетку, а на край стола, прямо на зелёное сукно, рядом с колодой дяди. Положил ногу на ногу. Улыбнулся. У него была прекрасная улыбка — открытая, мальчишеская, с ямочкой на одной щеке. Такой улыбкой выпрашивают деньги у тётушек.

— Ну, — сказал он. — Спрашивайте. Я весь ваш. Где я был, что видел, кого подозреваю. Я, кстати, подозреваю всех. Это ужасно интересно, правда? Настоящее преступление! В нашем доме! Тётушка, конечно, в отчаянии, бедняжка, но признайтесь, это же лучшее, что случалось на Лилейной террасе за последние десять лет.

— Где вы были во время ноктюрна? — спросил мистер Астор.

— У дверей, — сказал Огюст. — Я всегда стою у дверей. Не могу сидеть, когда играют музыку, — ноги затекают и хочется спать. А если стоять, можно в любой момент выйти. Очень удобно.

— Вы выходили?

— Нет. — Он улыбнулся. — Хотя хотелось. Ноктюрн Фонтейна — это семь минут смертной тоски. Но тётушка обиделась бы.

— Господин Бирс говорит, что в середине ноктюрна вы прошли через комнату к окну.

— А, это! — Огюст махнул рукой. — Было душно. Медузы в полумраке всегда чадят, вы замечали? От них идёт какой-то запах, когда их поворачивают к стене. Рыбный. Я открыл форточку. Это преступление?

— Окно рядом с витриной, — сказала я.

Огюст повернулся ко мне. Кажется, до этой минуты он меня не замечал. Он оглядел меня с ног до головы — быстро, привычно, как оглядывает женщин мужчина, который делает это слишком часто, — и, видимо, решив, что я не стою его внимания, снова улыбнулся мистеру Астору.

— Окно рядом с витриной, — согласился он. — И что? Я открыл форточку и вернулся к двери. Секунд двадцать. Я не останавливался у витрины. Я на неё даже не посмотрел. Я вообще эту Слезу терпеть не могу.

— Почему? — спросил мистер Астор.

— Потому что из-за неё в этом доме нельзя дышать. — Огюст пожал плечами, и улыбка на миг стала острее. — Двести лет она стоит в гостиной, и двести лет вокруг неё ходят на цыпочках. Дядя Себастьян желал ей спокойной ночи. Тётушка смотрит на неё чаще, чем на меня. Её хотел купить городской музей — дядя отказал. Её хотел купить Совет Потоков — за сумму, на которую можно было бы купить половину Аркадной улицы! — дядя отказал. «Это не продаётся, Огюст. Это наследие». Наследие! А я, между прочим, тоже наследие. Только меня никто не хочет купить.

Он засмеялся. Мистер Астор не засмеялся. Я тоже.

— Вы произнесли тост за Слезу, — сказал мистер Астор. — В девять вечера. Господин Бирс помнит ваши слова: «За то, что делает этот дом этим домом».

— Помнит, — сказал Огюст. — Конечно, помнит, Бирс помнит всё, это его проклятие. Да, я сказал тост. Тётушке было приятно. Мне — нетрудно. Это называется вежливость, мистер Астор. На верхних террасах она в ходу.

— А что вы имели в виду?

Огюст посмотрел на него чуть внимательнее. Улыбка стала тоньше.

— Ровно то, что сказал. Этот дом — это Слеза. Без Слезы это просто старый дом с плохим отоплением и тётушкой, которая всё ещё носит траур по человеку, умершему год назад. Без Слезы Марши — это просто Марши. Одна из пятидесяти старых семей. Ни денег, ни влияния, ни места в Совете. Только кристалл с шёпотом, который никто не может разобрать.

— Никто? — переспросила я.

— Никто, — сказал Огюст. — Он почти выдохся. Дед ещё мог разобрать слова. Дядя — уже нет. Последние годы он прикладывал его к уху и говорил, что слышит, но, по-моему, он просто притворялся. Ради тётушки. А в прошлом году, когда дядя умер, тётушка попросила оценщика посмотреть, и тот сказал, что...

Он вдруг осёкся.

— Что сказал оценщик? — спросила я.

Огюст посмотрел на меня. Я видела, как в его глазах что-то быстро просчитывается — так просчитывают ставку за игорным столом, когда карта уже легла, а сказать «пас» поздно.

— Ничего, — сказал он легко. — Что он старый. Кристаллы стареют. Это все знают. — Он снова улыбнулся, ямочка вернулась на щёку. — Спросите тётушку. Это её дело, не моё. Я в этом доме только живу.

Я записала: «Оценщик. В прошлом году. Что сказал?» И подчеркнула.

— Господин Марш, — сказал мистер Астор, — как вы думаете, кто мог её взять?

Это был правильный вопрос. Огюст Марш, как и многие люди, которым нечего делать, обожал говорить о других. Он оживился, соскочил со стола, прошёлся по кабинету и заговорил быстро, с видимым удовольствием:

— Кто угодно! Банкир Кольвин — у него в банке, говорят, дыра размером с каньон, он бы продал собственную бабушку, если бы за неё дали хорошую цену. Госпожа Аверилл — кто она вообще такая? Явилась месяц назад, никто о ней ничего не знает, тётушка познакомилась с ней на благотворительном вечере и теперь носится с ней, как с родной. А этот поэт, Фей! — Огюст поморщился. — Тётушкин протеже. Ни гроша за душой, живёт на её подачки, пишет стихи о луне и соли. Ужасные стихи. Он сидел у её ног весь ноктюрн, в двух шагах от витрины. Если кто-то и мог её взять, то он. А капитан Орсо, кстати, играет. Я видел его у Мэддокса на Звоннице на прошлой неделе. Проигрывал.

— А вы? — спросил мистер Астор. — Вы тоже бываете у Мэддокса на Звоннице?

Огюст остановился посреди кабинета.

— С чего вы взяли?

— От вас пахнет, — сказал мистер Астор просто. — Трубочным табаком, соляными хлопьями и вином, которое подают только в одном месте на Звоннице. Я знаю этот запах. Там стены пропитаны ставками. Сто лет люди проигрывают там всё, что у них есть, и стены это помнят. От вас пахнет этими стенами.

Это была, как я потом узнала, наполовину правда. Мистер Астор не мог узнать по запаху, в каком именно игорном доме был Огюст. Но он однажды был у Мэддокса по делу — искал там пропавшего мужа одной прачки с нижнего яруса — и запомнил. А Огюст об этом не знал.

Молодой человек побледнел. Потом покраснел. Потом снова улыбнулся, но улыбка вышла кривой.

— Да, я бываю у Мэддокса, — сказал он. — Как и половина верхнего яруса. Это не запрещено. Я был там прошлой ночью. После салона. Уехал в полночь, вернулся под утро. Можете спросить кого угодно — меня там видели двадцать человек.

— Вы много проиграли? — спросила я.

Огюст посмотрел на меня. На этот раз — по-настоящему, не мимоходом.

— Вы кто? — спросил он.

— Секретарь агентства, — сказала я.

— Секретари не задают вопросов.

— Этот задаёт, — сказал мистер Астор.

Огюст перевёл взгляд с меня на него и обратно. Потом вдруг рассмеялся, искренне, по-мальчишески, и снова сел на край стола.

— Много, — сказал он. — Достаточно, чтобы тётушка лишила меня содержания, если узнает. Но я не брал Слезу. Клянусь всем, что мне дорого.

— А что вам дорого? — спросила я.

Он подумал.

— Хороший вопрос, — сказал он. — Я подумаю и сообщу вам.

Мистер Астор всё это время сидел, положив ладонь на зелёное сукно стола. Глаза у него были полуприкрыты. Когда Огюст сказал «клянусь», я увидела, как он чуть заметно поморщился — не от неприязни, а так, как морщатся от слишком громкого звука.

— Благодарю вас, господин Марш, — сказал он. — Вы можете идти.

Огюст встал, оправил сюртук, слегка поклонился — мистеру Астору ниже, мне выше, чем следовало бы, с ироничной галантностью — и направился к двери. У двери он обернулся.

— Знаете, мистер Астор, — сказал он весело. — Если вы её найдёте, тётушка, наверное, на радостях наконец перепишет завещание. В мою пользу. Так что я заинтересован в успехе вашего расследования больше, чем кто-либо. Найдите её, пожалуйста. Мне очень нужно.

Он вышел. Дверь за ним закрылась с лёгким хлопком.

Мистер Астор открыл глаза.

— Он врёт, — сказал он.

— Про что?

— Про то, что не брал. — Мистер Астор нахмурился. — Нет. Не так. Когда он сказал «я не брал Слезу», стены остались спокойными. Это правда. А когда он сказал «клянусь всем, что мне дорого», — стены... зазвенели. Как фальшивая монета. — Он потёр висок. — Он не брал Слезу. Но что-то он взял. Что-то другое.

Я посмотрела на свою запись: «Оценщик. В прошлом году. Что сказал?» И ниже дописала: «Огюст — Мэддокс, Звонница. Проиграл много. "Что-то взял, не Слезу". Тётушкины драгоценности?»

Мистер Астор заглянул в мой блокнот.

— Драгоценности? — спросил он. — Почему драгоценности?

— У него в булавке для галстука, — сказала я, — не бриллиант, а страз. Хороший, дорогой страз, но страз. Бриллианты так не отражают свет медуз — они дают радугу, а страз даёт белый блик. На верхних террасах никто не носит стразы. Значит, бриллиант был, а потом его не стало. А из кармана жилета у него торчит квитанция. Розовая. Такие выдают в ломбарде Финнегана на Звоннице, рядом с Мэддоксом. Я видела, когда он сидел на столе.

Мистер Астор смотрел на меня долго.

— Вы удачно угадали, — сказал он наконец. — Опять.

— Да, — сказала я. — Мне сегодня везёт.

Он открыл рот, будто хотел что-то сказать. Потом закрыл. Потом сказал, глядя в сторону:

— Следующей позовите госпожу Марш. Мне кажется, она тоже нам кое-что не договаривает.

3

Вдова Марш вошла в кабинет мужа так, как входят в храм, где тебя когда-то венчали, а потом отпевали того, с кем венчали. На пороге она остановилась. Посмотрела на книжные шкафы, на кушетку, на стол. Увидела колоду карт в бархатном футляре и на секунду закрыла глаза.

— Я не была здесь с похорон, — сказала она. — Бирс вытирает пыль. Я не захожу.

Мистер Астор встал. Это было правильно, и я отметила, что он сделал это сам, не дожидаясь моего взгляда.

— Простите, госпожа Марш. Если вам тяжело, мы можем поговорить в другом месте.

— Нет. — Она выпрямилась. — Нет. Здесь. Он бы хотел быть при этом. Он всегда хотел быть при всём, что касалось Слезы.

Она села на кушетку у окна, расправив юбку, и положила руки на колени. Палантин она оставила в гостиной. Без него она казалась меньше и старше. Жемчуг на шее светился в сером свете из окна.

Мистер Астор сел обратно. Я осталась в своём кресле, сбоку, с блокнотом на коленях.

— Госпожа Марш, — начал мистер Астор осторожно, — вы сказали утром, что Слеза «теперь слышно хуже». Что вы имели в виду?

— То, что сказала. — Она не смотрела на него, она смотрела в окно, на каньон. — Она старая. Двести лет. Голос слабеет. Это естественно.

— Насколько слабеет?

— Достаточно.

— Можно ещё разобрать слова?

Пауза. Я видела, как её пальцы на коленях сжали ткань юбки.

— Иногда, — сказала она. — Если очень тихо. Если приложить к самому уху. Себастьян разбирал. Он говорил, что разбирает.

— А вы?

Вдова Марш повернулась к нему, и в глазах у неё было то, что я видела у отца, когда кто-то на заседании Совета задавал ему вопрос, на который он не хотел отвечать: холодная, тщательно отшлифованная вежливость, за которой — стена.

— Мистер Астор, — сказала она. — Я наняла вас, чтобы вы нашли Слезу. Не для того, чтобы вы оценивали её состояние.

— Её состояние может объяснить, почему её украли, госпожа Марш, — сказал мистер Астор мягко. — Если кто-то знал, что голос слабеет, он мог захотеть... успеть.

— Успеть что?

— Не знаю. Услышать то, что в ней. Пока это ещё можно услышать.

Вдова Марш замолчала. Она снова отвернулась к окну, и я увидела в стекле её отражение — бледное, с плотно сжатыми губами.

Мистер Астор положил ладонь на стол и прикрыл глаза. Я уже знала, что он сейчас делает. Он слушал не её — комнату, в которой она говорит. Как звучат здесь её слова. Как отзываются на них стены, которые помнили её мужа.

— Госпожа Марш, — сказала я, когда пауза стала слишком долгой. — Огюст упомянул, что в прошлом году, после смерти вашего мужа, вы приглашали оценщика.

Вдова резко обернулась ко мне.

— Огюст, — сказала она таким тоном, будто выплюнула косточку. — Конечно. Огюст. Он всегда говорит то, чего говорить не следует, и молчит, когда нужно говорить. — Она помолчала. — Да. Приглашала. После похорон. Нотариус сказал, что для описи наследства нужна оценка. Пришёл человек из Гильдии ювелиров. Посмотрел. Послушал.

— И что он сказал?

— Что голос уходит, — сказала вдова Марш тихо. — Что кристалл треснул. Внутри. Трещину не видно снаружи, она идёт от сердцевины. Через неё голос... вытекает. Как вода через щель в кувшине. Он сказал, что через год, может быть, через два, Слеза замолчит совсем. Станет просто куском соли. Красивым, прозрачным. Но просто солью.

На кабинет опустилась тишина. Даже маятник в гостиной за стеной, кажется, качнулся тише.

— Я никому не говорила, — продолжала вдова Марш, и голос у неё стал совсем другим — не надменным, а усталым, старым. — Никому. Даже Огюст узнал случайно, подслушал под дверью. Если бы город узнал, что Слеза мэра умирает... Мистер Астор, вы не понимаете, что это значит для нас. Марши — старая семья. Но у нас нет денег. Себастьян не умел их делать, он умел только тратить, и он тратил на приёмы, на благотворительность, на поэтов вроде этого бедного Фея. У нас нет места в Совете — его отец продал наше место тридцать лет назад, чтобы заплатить долги. У нас есть только имя. И Слеза. Пока Слеза в доме Маршей — мы Марши. Нас приглашают. Нас помнят. А если она замолчит...

Она не договорила.

Я подумала о своей семье. О голубой гостиной, о чае, о печенье. О том, как мать говорила: «Мы — Глассы. Глассы всегда служили Совету. В роду Глассов не было ни одного человека без дара». А потом посмотрела на меня. И больше этого не говорила.

Я понимала вдову Марш лучше, чем мне хотелось бы.

— Поэтому вы отпустили охрану, — сказала я негромко. — В тот вечер.

Вдова посмотрела на меня. Долго. Потом кивнула.

— Охранники стоят у витрины, — сказала она. — Всегда. Двое. Один из них — сын Бирса, Томас. Он умный мальчик. Слишком умный. За последние месяцы он несколько раз видел, как я подхожу к витрине по ночам и прикладываю Слезу к уху. И плачу. Он ничего не сказал. Но я видела, как он смотрит. А на салоне я хотела показать Слезу госпоже Аверилл. Поднести к её уху. Чтобы она услышала шёпот. — Вдова судорожно вздохнула. — А шёпота почти нет. Я боялась, что госпожа Аверилл ничего не услышит. И скажет об этом вслух. При охране. При всех.

— Поэтому вы отпустили охрану, — повторила я. — Чтобы, если госпожа Аверилл ничего не услышит, вы могли сказать, что Слеза просто устала. И никто не стал бы спорить.

— Да.

— А потом Слеза исчезла.

— А потом Слеза исчезла. — Вдова Марш вдруг рассмеялась — коротко, страшно, сухим смехом без капли веселья. — И знаете, что я почувствовала, когда увидела пустую подставку? Первую секунду? Облегчение. Чистое, постыдное облегчение. Теперь никто никогда не узнает, что она умирала. Теперь она просто пропала. Украдена. Это трагедия, а не позор. — Она закрыла лицо руками. — А потом я поняла, что лучше бы позор. Лучше бы весь город знал, что она треснула. Только бы она была здесь.

Мистер Астор молчал. Я тоже. В такие минуты я никогда не знаю, что сказать. Мать знала бы. Мать сказала бы что-нибудь правильное и велела бы подать ещё чаю. Я не знала.

Я встала, подошла к кушетке и села рядом с вдовой. Не близко. Просто рядом. Я не взяла её за руку — не посмела. Просто сидела.

Через минуту она отняла ладони от лица. Глаза у неё были сухие.

— Благодарю вас, мисс Гласс, — сказала она. Очень официально. И я поняла, что она благодарит не за слова, а за то, что слов не было.

Мистер Астор открыл глаза.

— Госпожа Марш, — сказал он. — Ещё один вопрос. После смерти вашего мужа кто-нибудь предлагал купить Слезу?

Вдова Марш нахмурилась.

— Многие. Как всегда. Музей — снова. Коллекционеры. Какой-то господин из Каменных Ключей. А, и ещё было письмо... — Она задумалась. — Из Совета. Вернее, не из самого Совета. Из какого-то бюро при нём. Официальное, на гербовой бумаге. Предлагали выкупить Слезу для «городского архива голосов». Говорили, что в архиве есть особые условия, чтобы сохранить старые записи, что там Слезу можно спасти. Предлагали хорошие деньги.

— Какое бюро? — спросила я.

— Не помню. — Вдова пожала плечами. — Какое-то инженерное. Или архивное. Там было много печатей. Я не дочитала. Я сразу отказала. Себастьян сказал перед смертью: «Не продавай её, Корделия. Ни за какие деньги. Она должна остаться в семье». И я обещала.

— Письмо сохранилось?

— Наверное. В бумагах Себастьяна. — Она кивнула на стол. — Бирс знает. Он всё складывает.

Я записала: «Письмо. Бюро при Совете. Выкуп для архива голосов. Найти». Подчеркнула дважды.

Мистер Астор смотрел на вдову с выражением, которого я у него раньше не видела: серьёзным, сосредоточенным, без всякой театральности.

— Госпожа Марш, — сказал он медленно. — Я слушал вас, пока вы говорили. Стены этой комнаты помнят вашего мужа. Они помнят его голос, когда он говорил о Слезе. И они откликаются на ваш голос — потому что вы говорите о том же. Вы боитесь. Вы очень боитесь. Но не того, что вас уличат. Вы боитесь потерять. — Он помолчал. — Вы её не брали.

Вдова Марш смотрела на него.

— Конечно, не брала, — сказала она с прежней надменностью, которая, впрочем, сейчас звучала почти трогательно. — Зачем мне красть собственный кристалл?

— Ради страховки, — сказала я.

Она медленно повернулась ко мне.

— Слеза застрахована, — продолжила я, глядя в блокнот. — Иначе быть не может: реликвия такой ценности в доме без денег. Если она умирает и через год станет просто солью, страховка — единственный способ получить за неё хоть что-то. Кто-то на вашем месте мог бы об этом подумать.

Вдова Марш долго смотрела на меня. Потом сказала очень тихо:

— Кто-то на моём месте мог бы. Я — нет. Себастьян бы не простил. — Она встала. — Страховка в «Весерской Надёжности». Тридцать тысяч сольдов. Можете проверить. Я её не трогала. И не трону. Даже если Слезу не найдут.

Она пошла к двери. У порога остановилась, не оборачиваясь.

— Мисс Гласс, — сказала она. — Утром я спросила, кто вы. Ваше лицо мне кажется знакомым. Теперь я, кажется, вспомнила. Вы похожи на одну девочку, которая когда-то была у нас на детском празднике. Себастьян вынул у неё из-за уха сольд. Она так серьёзно на него смотрела. Как будто считала, сколько ещё там может быть.

Я не ответила. Вдова Марш постояла ещё секунду, потом вышла.

Мистер Астор смотрел на меня. Я смотрела в блокнот. Буквы в нём слегка расплывались, и я сняла очки, чтобы протереть их краем рукава.

— «Весерская Надёжность», — сказал наконец мистер Астор, будто ничего не произошло. — Это где работает Ладлоу. Наш вчерашний клиент.

— Да, — сказала я, надевая очки. — Отдел страхования от пожаров. Не от краж. Но он, наверное, знает, кто там занимается реликвиями.

— Вы спросите?

— Спрошу.

Он кивнул. Помолчал. Потом сказал, глядя в окно:

— Сольд из-за уха. Это правда?

— Я не обсуждаю родственников на работе, мистер Астор, — сказала я.

— Это не родственник. Это сольд.

Я подумала.

— Правда, — сказала я. — Я хранила его два года. Потом потеряла.

Он кивнул снова, очень серьёзно, будто я сообщила ему важную улику. И больше ничего не спросил.

Я перевернула страницу блокнота и написала сверху новую строчку: «Сольд. Два года. Потеряла». Потом зачеркнула её, потому что это не имело отношения к делу. Потом, подумав, обвела зачёркнутое карандашом. Иногда вещи, которые не имеют отношения к делу, — единственное, что имеет отношение ко всему остальному.

Мистер Астор, кажется, видел. Он ничего не сказал. Он только подвинул ко мне по зелёному сукну колоду покойного господина Марша, будто предлагая сыграть, и я, сама не зная зачем, сняла верхнюю карту. Это была дама треф.

4

Книгу визитов принёс Бирс.

Это была толстая тетрадь в переплёте из тёмно-зелёной кожи, с медными уголками и застёжкой, на корешке — тиснёный герб, капля над волнами. Бирс держал её обеими руками, как держат молитвенник, и положил на стол перед мистером Астором с таким видом, будто передавал ему ключи от дома.

— Всё здесь, сэр, — сказал он. — Каждый, кто переступал порог этого дома за последние шесть лет. Предыдущие тома — в библиотеке, если нужно. Начиная с первого года, когда покойный господин стал хозяином дома.

— Спасибо, господин Бирс, — сказал мистер Астор.

Бирс поклонился и вышел. Перед тем как закрыть дверь, он на мгновение задержался и посмотрел на меня. Я не поняла этого взгляда. Тогда — не поняла.

Мистер Астор открыл книгу, полистал, нахмурился. Страницы были исписаны аккуратным почерком дворецкого — дата, время, имя, цель визита, иногда короткая пометка. «Госпожа Тиммс. Чай. Принесла варенье из горной вишни». «Господин Фей. Обед. Читал стихи. Госпожа плакала». «Нотариус Хейворт. По делам наследства. Пробыл два часа». Мистер Астор листал всё быстрее, страницы шуршали, и я видела, как у него на лице появляется выражение человека, который пытается выпить реку.

— Позвольте мне, — сказала я.

Он посмотрел на меня, потом на книгу, потом снова на меня. И пододвинул её ко мне.

— Вы ведь всё равно это сделаете, — сказал он. — Лучше я буду знать заранее.

Прежде чем начать, я пролистала книгу целиком, просто чтобы понять, как она устроена. Бирс вёл её так, как вели бы бухгалтерию в хорошей конторе: каждый месяц начинался с новой страницы, сверху — название месяца, выведенное с завитком, снизу — итог: столько-то визитов, столько-то обедов, столько-то чаепитий. На последней странице каждого месяца была отдельная табличка, которую я сначала приняла за опись серебра. Оказалось — «Отлучки прислуги». Бирс записывал, кто из домашних когда отлучался из дома, — видимо, по старому правилу, заведённому ещё покойным господином.

«Г. Бирс — понедельник, с 9 до 13».

«Марта, кухарка, — воскресенье, после обеда».

«Лиззи и Нэн, горничные, — поочерёдно, суббота».

«Т. Бирс, охрана, — по графику смен».

«Г-жа Ловелл — среда и суббота, с утра до 4 пополудни. К брату, средн. ярус».

Я пробежала табличку глазами и перевернула страницу. Отлучки прислуги меня не интересовали: меня интересовали гости, люди, которые приходили в дом извне. Я тогда думала, что вор пришёл извне. Почти все так думают поначалу.

Через несколько дней я вернусь к этой табличке и буду смотреть на неё так долго, что Бирс спросит, не нужна ли мне лупа. Но это будет потом.

Я начала с конца — с последней записи, вчерашнего салона, где Бирс аккуратно перечислил всех двенадцать гостей с точным временем прибытия, — и пошла назад, день за днём. Мне не нужно было читать всё. Мне нужно было найти то, что выбивалось из ряда.

Ряд был такой. Визиты подруг — по средам и пятницам. Поэт Фей — почти каждый день, к обеду. Нотариус — раз в месяц. Поставщики — через заднюю дверь, отдельной графой. Огюст — не записан вовсе, видимо, потому что живёт в доме. Госпожа Аверилл — трижды за последний месяц, всегда к чаю, всегда с пометкой Бирса: «Новая знакомая госпожи. Из Каменных Ключей. Вдова». Капитан Орсо — однажды, две недели назад, «по делу о проезде фуникулёром для благотворительного вечера». Советник Дрю — однажды, три недели назад, «с супругой, с визитом соболезнования по случаю годовщины».

А ровно неделю назад, во вторник, в одиннадцать утра, стояло:

«Господин М. Талль, ювелир-оценщик, Гильдия Огранщиков, Бронзовая ул., средн. ярус. По приглашению госпожи. Осмотр Слезы для страховой описи. Пробыл в гостиной один час двадцать минут. Был один».

Я перечитала дважды. Потом подняла глаза на мистера Астора.

— Неделю назад, — сказала я. — Ювелир. Осматривал Слезу. Был в гостиной один. Час двадцать минут.

— Один? — переспросил мистер Астор. — Без хозяйки?

— «Был один», — прочла я. — Это пометка Бирса. Он пишет пометки, только когда что-то не так, как обычно. У остальных визитов такой пометки нет.

Мистер Астор встал.

— Спросим госпожу Марш, — сказал он.

Мы нашли её в гостиной, у витрины. Она стояла, положив ладонь на хрустальный колпак, и смотрела на пустую подставку. Когда мы вошли, она убрала руку — быстро, будто её застали за чем-то неприличным.

— Ювелир? — переспросила она, когда мистер Астор спросил. — Талль? Да. Он приходил на прошлой неделе. Страховая компания требует ежегодной оценки. Раньше приходил старый Гарвин, но он умер весной, и мне порекомендовали Талля. Молодой, говорили, но толковый.

— Кто порекомендовал?

Вдова задумалась.

— Не помню. Кто-то на благотворительном вечере. Может быть, госпожа Аверилл? Или Кольвин? Нет... — Она поморщилась. — Не помню. Это важно?

— Может быть, — сказал мистер Астор. — Почему он был в гостиной один?

— У меня разболелась голова, — сказала вдова. — Он сказал, что ему нужен час, чтобы осмотреть кристалл, взвесить, проверить чистоту. Что это скучно и мне не обязательно присутствовать. Я открыла ему витрину и ушла к себе. Эфа принесла мне капли. — Она нахмурилась. — Бирс был в доме. В коридоре.

— Витрину открыли вы?

— Я. Ключом. — Вдова коснулась цепочки на шее. — Потом, когда он закончил, я пришла и закрыла. Слеза была на месте. Я проверила. Я даже приложила её к уху. Она шептала.

Мистер Астор кивнул и молча подошёл к витрине. Опустился на колени. Положил ладонь на паркет у журавлиной лапы — там, где лежал утром, слушая ноктюрн. Закрыл глаза.

Я тем временем обошла витрину кругом. Медленно, глядя под ноги.

Утром я смотрела на витрину сверху — на замок, на петли, на подушечку. Сейчас я смотрела вниз. На паркет. Горный кедр, уложенный ёлочкой, натёртый воском до медового блеска. Хороший, дорогой воск, пахнущий мёдом и смолой. Им натирали весь пол в гостиной, и весь пол был одинаково гладким и блестящим.

Весь, кроме одного места.

У левой задней ножки витрины, со стороны, обращённой к окну — там, где утром, как я помнила, стоял Огюст, открывая форточку, — на паркете было пятно. Небольшое, с ладонь. Матовое. Будто кто-то натёр пол другим воском — более светлым, более твёрдым, без медового запаха. Я наклонилась и потрогала пятно пальцем. Шероховатое. Под ногтем осталась крошечная белая крупинка.

Я понюхала. Воск. Но не медовый, не тот, которым натирают полы. Резкий, чуть горьковатый. Такой воск я видела у отца на столе: им запечатывали официальные письма Совета. Но запечатывали красным. Этот был белый.

Белый воск. Ювелирный. Его используют, чтобы снимать слепки.

— Мистер Астор, — сказала я тихо.

Он открыл глаза.

— Посмотрите. Здесь.

Он посмотрел. Потрогал пятно. Нахмурился.

— Воск, — сказал он.

— Ювелирный, — сказала я. — Для слепков. Им снимают формы с колец, с печатей. И с замков. Если прижать комок к скважине — получится отпечаток. По нему можно сделать

ключ. Здесь кто-то уронил воск. Или работал с ним прямо здесь, на полу. Потом убрал, но не до конца. Он въелся в старый воск на паркете.

Мистер Астор посмотрел на пятно. Потом на замок витрины. Потом на меня.

— Час двадцать минут, — сказал он медленно. — Один. С открытой витриной. Он мог снять слепок не только с замка. Он мог снять слепок со всего.

— Или просто с замка, — сказала я. — Чтобы кто-то потом мог открыть витрину без ключа. Тихо. Как табакерку.

Мы посмотрели друг на друга. Я видела, что он вспомнил то же, что и я: «Шёлк скользит по стеклу. И щелчок. Тихий. Как будто закрыли табакерку».

— Ювелир, — сказал мистер Астор.

— Ювелир снял слепок, — сказала я. — Это ещё не значит, что ювелир украл. В ночь салона его здесь не было. Его нет в списке гостей.

— Но слепок у него.

— Слепок у него, — согласилась я. — Или был у него. Или он сделал ключ и отдал кому-то. Или продал.

Вдова Марш, стоявшая у окна, смотрела на нас со всё нарастающим ужасом.

— Вы хотите сказать, — проговорила она, — что я сама впустила его? Сама открыла ему витрину? Сама ушла?

— Вы не могли знать, госпожа Марш, — сказал мистер Астор мягко.

— Я должна была знать! — Голос её сорвался. — Себастьян бы знал. Себастьян никогда никого не оставлял со Слезой одного. Никогда. Даже меня. А я... у меня болела голова.

Мистер Астор встал, отряхнул колени. Посмотрел на меня. Я кивнула: да, надо ехать к ювелиру. Бронзовая улица, средний ярус. Сегодня же. Пока он не...

И в этот момент снизу, с улицы, донёсся звук, который я узнала бы среди тысячи. Резкий, пронзительный, на двух нотах — свисток стражи. Потом скрип колёс. Потом топот сапог по ступеням крыльца.

Вдова Марш побелела.

— Нет, — прошептала она. — Я же не вызывала. Я никому не говорила.

Внизу хлопнула дверь. Раздался голос Бирса — ровный, почтительный, — и другой голос, громкий, хриплый, раздражённый, с тем особым выговором средних ярусов, от которого учителя на Лилейной террасе морщились и поправляли учеников:

— Инспектор Тобиас Крейн, городская стража. Где хозяйка? Мне сообщили о краже. И, говорят, у вас тут уже какой-то шарлатан по полу ползает.

Мистер Астор закрыл глаза. Я увидела, как он беззвучно произнёс одно слово, и, кажется, это было имя.

— Вальдемары, — сказала вдова Марш с ненавистью. — Изольда. Это она. Она всегда первой узнаёт о чужих несчастьях — и всегда первой о них рассказывает.

По лестнице поднимались тяжёлые шаги. Я быстро закрыла блокнот, сунула его в сумку вместе с конвертом красных крошек и встала рядом с мистером Астором — так, как, я надеялась, стоят секретари, которые здесь по праву.

Мистер Астор, не открывая глаз, сказал мне очень тихо:

— Мисс Гласс. Что бы он ни говорил — не спорьте с ним. Он не любит, когда с ним спорят.

— А вы?

Он открыл глаза и посмотрел на меня. В серых грозовых глазах мелькнуло что-то похожее на озорство.

— А я спорю с ним всегда, — сказал он. — Это наша традиция.

Шаги приближались. Тяжёлые, неровные: левая нога ступала твёрже правой, будто когда-то её повредили и с тех пор она берегла себя. На каждой площадке шаги останавливались, и

раздавалось громкое сопение — человек, поднимавшийся по лестнице, не привык к лестницам верхних террас, где ступени выше, а пролёты длиннее, чем на средних ярусах. Вдова Марш поправила жемчуг. Я поправила воротничок. Мистер Астор не поправил ничего — только встал чуть ровнее и сложил руки за спиной, точь-в-точь как Бирс.

Дверь гостиной распахнулась.

Глава 5

Инспектор Крейн

1

Инспектор Тобиас Крейн вошёл в гостиную Маршей так, как входит в посудную лавку человек, которому заранее сказали, что он всё разобьёт, и который решил не разочаровывать.

Он был невысокий, широкий, плотный, с короткой толстой шеей, на которой сидела крупная голова в форменной фуражке стражи. Фуражку он не снял. Лицо красное, обветренное, с крупным носом и густыми рыжеватыми усами, кончики которых, видимо, когда-то закручивал, а потом махнул рукой. Глаза маленькие, светло-карие, цепкие, почти без ресниц — они обежали гостиную за одну секунду, и я была уверена, что он запомнил всё: витрину, люстры, рояль, вдову, нас. Мундир синий, форменный, застёгнутый на все пуговицы, кроме самой нижней: видимо, она не сходилась на животе. На ногах — тяжёлые сапоги, которые оставили на медовом паркете две цепочки грязных следов. Левый след был глубже правого.

За ним вошли двое стражников помоложе — длинные, тощие, в таких же мундирах, с одинаково испуганными лицами, — и Бирс, который смотрел на следы на паркете с выражением тихого страдания.

Крейн остановился посреди гостиной, широко расставив ноги, и оглядел нас — вдову у окна, меня у витрины, мистера Астора рядом со мной.

— Ну конечно, — сказал он. — Конечно. Астор.

— Инспектор, — сказал мистер Астор и вежливо поклонился. — Какая неожиданная радость.

— Радость, — повторил Крейн. Голос у него был громкий, хриплый, привыкший перекрикивать рыночный шум. — У меня, Астор, от тебя радость, как от зубной боли. Только зубная боль проходит, а ты нет. Что ты здесь делаешь?

— Работаю.

— Работает он. — Крейн повернулся к вдове Марш и стянул наконец фуражку, обнажив короткие рыжие волосы с проседью на висках. Поклонился он плохо — неловко, попростому, всем туловищем, как кланяются на средних ярусах. — Госпожа Марш. Инспектор Крейн, городская стража, отдел краж и пропаж. Мне сообщили, что у вас вчера вечером украли какую-то... реликвию. Почему вы не обратились в стражу?

— Кто вам сообщил? — спросила вдова Марш ледяным голосом.

— Это служебная информация, госпожа.

— Вальдемары, — сказала вдова. Это был не вопрос.

Крейн чуть заметно поморщился, и это было ответом.

— Неважно кто, госпожа. Важно, что кража есть, а стражи нет. А вместо стражи есть он. — Крейн ткнул большим пальцем в сторону мистера Астора, не глядя на него. — Госпожа Марш, при всём уважении. Этот человек — не сыщик. Он фокусник. Он лежит на полу, прикладывает ухо к стенам и рассказывает людям сказки про голоса в камнях. Иногда ему везёт, и сказка совпадает с правдой. Чаще — не совпадает. А газетчики потом пишут, что он гений.

— Инспектор, — сказал мистер Астор мягко. — В прошлом месяце, на Бондарной улице, сказка совпала с правдой.

Крейн медленно повернулся к нему. Лицо у него стало ещё краснее.

— На Бондарной улице, — сказал он раздельно, — я три недели искал пропавшего ростовщика. Три недели. Опросил сорок человек. Проверил все долговые расписки. А потом пришёл ты, полежал на полу в его подвале и сказал: «Он здесь». И он был там. За ложной стеной. — Крейн помолчал. — Ты сказал, что слышал, как он стучит.

— Он стучал, — сказал мистер Астор. — Неделю. Сначала громко, потом тише. Потом перестал.

— Он был мёртв, когда мы его нашли.

— Я знаю, — сказал мистер Астор тихо. — Я пришёл слишком поздно. Меня позвали слишком поздно.

На секунду в гостиной стало тихо. Крейн смотрел на мистера Астора. Мистер Астор — на Крейна. Я — на обоих. И вдруг я поняла, что между ними есть что-то, чего я не знаю: не вражда, а что-то сложнее. История. Подвал на Бондарной улице, мёртвый ростовщик за ложной стеной, неделя стука, который никто не услышал, кроме одного человека.

— Ладно, — сказал Крейн наконец, отводя глаза. — Неважно. Это другое дело. А здесь — моё. Кража на верхней террасе — дело стражи. Госпожа Марш, я прошу вас рассказать мне всё. С самого начала.

Вдова Марш посмотрела на мистера Астора. Мистер Астор едва заметно кивнул. Вдова вздохнула и начала рассказывать — во второй раз за день, — но уже короче, суше, без слёз: салон, двенадцать гостей, ноктюрн, пустая подставка. Про трещину она не сказала ни слова. Про охрану сказала: «Отпустила, чтобы не мешали гостям». Про страховку промолчала. Крейн слушал, широко расставив ноги, и один из его тощих стражников записывал в форменную книжку. Записывал он медленно, шевеля губами, и я видела, что он пропускает половину.

Мне захотелось подойти и забрать у него книжку. Я сдержалась.

Когда вдова закончила, Крейн подошёл к витрине. Обошёл её кругом. Наклонился к замку — так близко, что его усы почти коснулись хрусталя. Потрогал замок толстым пальцем. Поскрёб ногтем петли.

— Не взломано, — сказал он. — Значит, ключ.

— Ключ у меня, — сказала вдова. — Всё время. На шее.

— Значит, второй ключ, — сказал Крейн. — Или дубликат. Кто ещё имеет доступ к вашей шее, госпожа?

Вдова Марш задохнулась от возмущения. Я опустила глаза в пол, чтобы никто не увидел моего лица. Мистер Астор кашлянул.

— Я имею в виду, — поправился Крейн, нисколько не смутившись, — кто мог снять ключ, пока вы спите? Или пока моетесь? Или пока не смотрите? Горничная? Компаньонка? Камердинер покойного мужа?

— Никто, — сказала вдова Марш. — Я сплю с ним. Я моюсь с ним. Я не снимаю его никогда.

— Никогда — это долго, госпожа, — сказал Крейн. — Люди всегда что-нибудь снимают.

Он отошёл от витрины и встал посреди гостиной, сунув большие пальцы за ремень. Огляделся ещё раз — медленно, тяжело, как оглядывается бык, решающий, куда бежать.

— Значит, так, — сказал он. — Витрина не взломана. Чужих в доме не было, кроме гостей. Гостей двенадцать, все из хороших семей, все друзья хозяйки. Ни один из них не станет красть фамильную реликвию у вдовы, с которой обедает каждую среду. Это не их стиль. Они воруют иначе: на бирже, в Совете, в договорах. А это — простая кража. Значит, кто-то из своих. Из дома. Прислуга. Или родственник.

Вдова Марш открыла рот, чтобы возразить. Крейн поднял ладонь.

— Я не обвиняю, госпожа. Я рассуждаю. Двадцать лет в страже. В девяти случаях из десяти, когда у богатой вдовы пропадает ценность из запертой комнаты, её берёт кто-то, кто живёт в этом доме. Это не сказки про голоса в стенах. Это статистика.

— А десятый случай? — спросил мистер Астор.

Крейн посмотрел на него.

— Десятый случай, Астор, — сказал он, — это когда приходишь ты и говоришь, что её унёс призрак.

Один из тощих стражников хихикнул. Крейн бросил на него взгляд, и тот поперхнулся.

— Я не говорю, что её унёс призрак, — сказал мистер Астор спокойно. — Я говорю, что её унесли вниз. Через служебную лестницу, через кухню, через задний двор, в переулок, к Звоннице. А оттуда — на нижние ярусы. К реке. Я это слышал.

— Слышал, — повторил Крейн.

— Слышал.

— Где доказательства?

— Мои уши.

— Твои уши, — сказал Крейн с видимым наслаждением, — в суде не принимают, Астор. Твои уши нельзя приложить к делу. Твои уши нельзя показать присяжным. Если я приду к судье и скажу, что Даниэль Астор слышал, как кристалл кричал на служебной лестнице, судья спросит, давно ли я пью. А если я приду и скажу, что у дворецкого на подошвах глина с нижнего яруса и он не может объяснить, где был в понедельник утром, — тогда это дело. — Крейн повернулся к Бирсу. — У вас ведь глина на подошвах, господин Бирс?

Бирс, стоявший у двери, не шелохнулся. Только жилка на виске снова дёрнулась.

Я перевела взгляд на мистера Астора. Он смотрел на Крейна с удивлением.

— Откуда вы знаете про глину? — спросил он.

— А я не знаю, — сказал Крейн. — Я угадал. Посмотрел на его ботинки, когда он открывал мне дверь. Двадцать лет в страже, Астор. Ботинки — это первое, на что смотришь. Ботинки не врут.

Я подумала, что ботинки — это то, на что смотрю и я. И что Крейн, при всей своей грубости, посмотрел туда же, куда и я, и увидел то же, что и я. Только я записала «глина», а он сказал вслух при всех. И мне вдруг стало неприятно — не от того, что он это сказал, а от того, что я не успела первой подумать, что из этого следует.

А следовало, как потом выяснится, совсем не то, что подумали мы все.

— Значит, так, — повторил Крейн, повернувшись к вдове. — Госпожа Марш, с этого момента расследование ведёт стража. Я прошу всех домашних не покидать дом без моего разрешения. Гостей я опрошу сам. А вы, Астор, — он повернулся к мистеру Астору, — можете идти домой и лежать на своём полу. Здесь вам больше делать нечего.

Мистер Астор не шелохнулся.

— Госпожа Марш наняла меня, инспектор, — сказал он. — Не вас. Она заплатила задаток. Я работаю на неё.

— А я работаю на город.

— Город не вернёт ей Слезу, — сказал мистер Астор. — А я верну.

Крейн побагровел. Вдова Марш, стоявшая у окна, вдруг выпрямилась во весь свой невысокий рост и сказала тем голосом, каким, наверное, когда-то её свекровь разговаривала с поставщиками:

— Инспектор. Мистер Астор останется. И его секретарь тоже. Это мой дом. И моя Слеза. И я решаю, кто будет её искать.

Крейн посмотрел на неё. Потом на мистера Астора. Потом — впервые с той минуты, как вошёл, — на меня. Долго. Оценивающе. Будто только сейчас заметил, что в комнате есть ещё кто-то.

— Секретарь, — сказал он. — У Астора теперь секретарь. — И вдруг криво усмехнулся. — Сочувствую, барышня. Искренне.

— Благодарю, инспектор, — сказала я. — Мне пока нравится.

— Пока, — сказал Крейн. — Все так говорят. Пока.

Он надел фуражку, махнул стражникам и тяжело зашагал к двери, оставляя на паркете новые грязные следы. У порога он обернулся.

Стражники потянулись за ним. Тот, что записывал, на ходу захлопнул форменную книжку, и из неё выпал листок. Я подняла его. Это был список гостей — неполный, с ошибками: госпожа Аверилл была записана как «Аврил», полковник Брэм — как «Брамм», а Изольды Вальдемар не было вовсе. Видимо, в доме Вальдемаров, откуда пришёл донос, решили, что Изольду упоминать не обязательно. Я сложила листок и протянула стражнику. Он взял, покраснел до ушей и пробормотал «спасибо, барышня». Крейн, стоявший у двери, видел это. Он ничего не сказал, но я заметила, как дёрнулся его рыжий ус.

— Астор. Если ты опять полезешь в мои дела, я тебя арестую за препятствование следствию. Мне всё равно, что напишут газеты.

— Вы меня уже трижды арестовывали, инспектор, — сказал мистер Астор. — И каждый раз отпускали.

— В четвёртый раз не отпущу, — сказал Крейн.

И вышел, хромая на правую ногу, — левая, как я теперь поняла, ступала твёрже потому, что он её берёг меньше.

2

Крейн, разумеется, никуда не ушёл. Он вышел из гостиной, чтобы, как он выразился в коридоре достаточно громко, чтобы мы услышали, «заняться настоящей работой». Настоящая работа заключалась в том, что он велел Бирсу собрать всех домашних в людской и по очереди вызывал их в малую столовую — ту самую, где накануне подавали форель в соляной корке.

Мы с мистером Астором остались в гостиной. Вдова Марш ушла к себе, сославшись на головную боль. Эфа Ловелл ушла вместе с ней — бесшумно, как тень, которую уводят за собой, — и я заметила это, только когда её окно опустело.

— Он нас выгнал, — сказал мистер Астор, глядя на дверь, за которой скрылся Крейн. — Формально.

— Формально, — согласилась я. — Но госпожа Марш нас оставила. Тоже формально.

— Значит, мы в доме, но не в деле.

— Значит, мы в доме, — сказала я. — А дело — это то, что мы из него сделаем.

Мистер Астор посмотрел на меня с любопытством.

— Вы так говорите, будто занимались этим всю жизнь.

— Я всю жизнь занималась счетами, — сказала я. — Это то же самое. Есть приход, есть расход, где-то разница. Нужно найти, куда ушла разница. Здесь разница — Слеза.

Он хмыкнул.

Малая столовая была за стеной. Стена была толстая, старая, сложенная из того же песчаника, что и весь дом, и обычный человек ничего бы сквозь неё не услышал. Но мистер Астор не был обычным человеком. Он подошёл к стене, приложил к ней ладонь и закрыл глаза. Через минуту он начал пересказывать мне вполголоса — с паузами, иногда сбиваясь, иногда поправляясь, — то, что происходило по ту сторону.

Это было удивительно. Это было, если честно, немного жутко. Он стоял у шёлковой обивки с ивовыми ветвями, с закрытыми глазами, и говорил голосами других людей, будто сам был стеной.

— Кухарка, — сказал он. — Марта. Боится. Говорит, что весь вечер была на кухне. Что видела, как Бирс выходил в буфетную. Что ничего не знает. Крейн спрашивает, кто ещё был на кухне во время ноктюрна. Она говорит: девочки, Лиззи и Нэн. И госпожа Ловелл заходила. За горячим кувшином, для грелки госпоже. — Он помолчал. — Крейн не обратил внимания. Спрашивает про Бирса. Про понедельники.

Я записала: «Э. Л. — кухня во время ноктюрна? За кувшином?» И остановилась. Посмотрела на запись. Это противоречило тому, что сказал Бирс: «Госпожа Ловелл была при госпоже». Но в полутьме, во время музыки, компаньонка могла выйти за кувшином и вернуться, и никто бы не заметил. Компаньонок никто не замечает.

Я хотела сказать об этом мистеру Астору. Но он уже слушал дальше.

— Горничные, — сказал он. — Лиззи плачет. Нэн злится. Говорят, ничего не видели. Говорят... — Он вдруг чуть улыбнулся. — Нэн говорит, что инспектор наследил на паркете и господин Бирс до ночи будет его оттирать. Крейн рявкнул на неё. Лиззи заплакала сильнее.

Потом был сын Бирса, Томас, охранник. Молодой голос, напряжённый. Мистер Астор пересказал: Томас в понедельник вечером был свободен, госпожа отпустила охрану, он ушёл в казарму на Аркадной, где его видели двадцать человек. Отца в понедельник утром он не видел. Где отец бывает по понедельникам — не знает. «Это его дело, сэр».

— Он врёт, — сказал мистер Астор. — Знает. Стены сжались, как у отца. Но не скажет.

Потом Крейн вызвал Огюста.

Огюст пробыл в малой столовой дольше всех. Мистер Астор пересказывал разговор почти дословно, и я записывала, и с каждой минутой мне становилось яснее, к чему ведёт Крейн. Он был груб, но не глуп. Он задавал Огюсту те же вопросы, что задавали мы, — где был, что видел, зачем открывал форточку, — но задавал их иначе: прямо, в лоб, повторяя один и тот же вопрос по пять раз, пока Огюст не начинал путаться.

— Он спросил, много ли он проиграл у Мэддокса, — пересказал мистер Астор. — Огюст сказал «немного». Крейн сказал: «Покажите карманы». Огюст отказался. Крейн сказал, что тогда позовёт стражников, и они покажут сами. Огюст показал. — Мистер Астор открыл глаза и посмотрел на меня. — Квитанции. Из ломбарда. Розовые.

— Финнеган, Звонница, — сказала я.

— Четыре штуки, — сказал мистер Астор. — Крейн читает вслух. Брошь с сапфиром. Серьги с жемчугом. Браслет. И кольцо с изумрудом. Всё — тётушкино. Всё заложено за последние два месяца. — Он помолчал. — Огюст говорит, что тётушка сама ему дала. Крейн смеётся. Огюст говорит, что выкупит. Крейн спрашивает, на какие деньги. Огюст молчит.

Я записывала, и рука у меня двигалась сама. Брошь, серьги, браслет, кольцо. Заложены, подменены стразами. Тётушка не заметила — или заметила и промолчала. Огюст в долгах у Мэддокса. Огюст открывал форточку рядом с витриной во время ноктюрна. Огюст пил за Слезу за сорок минут до кражи.

Если бы я была Крейном, я бы тоже поставила на Огюста.

Видимо, Крейн так и сделал. Через несколько минут дверь малой столовой распахнулась, и он вышел в коридор, торжествующий, с розовыми квитанциями в руке. За ним — бледный Огюст и один из тощих стражников, державший Огюста под локоть.

Крейн заглянул в гостиную.

— А, вы ещё здесь, — сказал он, увидев нас. — Ну что, Астор? Как там твои голоса в стенах? Что они говорят про племянничка, который закладывает тётушкины бриллианты, чтобы расплатиться за карты?

— Они говорят, что он не брал Слезу, инспектор, — сказал мистер Астор.

— Конечно, — сказал Крейн. — А квитанции ему феи подложили. — Он помахал розовыми бумажками. — Четыре вещи из дома за два месяца, Астор. Четыре. А теперь пятая. Самая дорогая. Племянник по уши в долгах, проигрался у Мэддокса так, что ему уже не дают в кредит. Стоит рядом с витриной в темноте. Тётушка смотрит в другую сторону, слушает стишки. Племянник открывает форточку — для отвода глаз — и прихватывает кристалл. Утром несёт его вниз, к перекупщикам. Вот тебе и «вниз, к реке». Твои стены тебе не соврали, Астор. Они просто не сказали, кто именно нёс.

Это было убедительно. Это было, как ни неприятно мне было это признавать, гораздо убедительнее, чем всё, что мы с мистером Астором к тому времени установили. У Крейна был подозреваемый, мотив, возможность и розовые квитанции. У нас были крик кристалла, красные крошки, о которых я ещё никому не сказала, и пятно белого воска, которое я рассчитывала показать Крейну, но теперь передумала.

— Инспектор, — сказал мистер Астор. — В понедельник ночью Огюст Марш был у Мэддокса. С полуночи до утра. Его видели двадцать человек.

— А Слезу украли около десяти, — сказал Крейн. — У него было два часа, чтобы её спрятать. Или отдать сообщнику. А к Мэддоксу пошёл уже потом. Для алиби.

— Он не мог нести её через служебную лестницу. Он стоял у парадных дверей. Он ни разу не выходил из гостиной во время ноктюрна. Это видели все.

— Все видели в темноте, — сказал Крейн. — А в темноте, Астор, видно только то, что хочется видеть.

Огюст, стоявший за его спиной, поднял голову и посмотрел на меня. Не на мистера Астора — на меня. В его глазах не было ни улыбки, ни ямочки на щеке. Было что-то похожее на просьбу. Я не знала, о чём он просит. Я не знала, что ему ответить.

Я посмотрела на квитанции в руке Крейна. Розовые бумажки, четыре штуки, с печатью ломбарда Финнегана — синий якорь в круге. Брошь с сапфиром. Серьги с жемчугом. Браслет. Кольцо с изумрудом. Всё мелкое, всё такое, что можно унести в кармане жилета и не заметить. И ни одной вещи крупнее. Человек, который два месяца закладывает тётушкины украшения по одному, осторожно, подменяя стразами, чтобы никто не заметил, — такой человек не крадёт двухсотлетнюю реликвию из витрины посреди салона на глазах у двенадцати гостей. Это не его почерк. Я записала это в блокнот: «Огюст — мелко, по одному, тайно. Слеза — крупно, разом, при всех. Почерк не тот».

— Он не брал, — повторил мистер Астор упрямо. — Я слышал. Стены не сжимались, когда он говорил, что не брал.

— Стены, — сказал Крейн. — Опять стены. — Он покачал головой, почти сочувственно. — Астор, ты хороший парень. Честное слово. Ты нашёл того ростовщика. Ты нашёл сына прачки с Береговой. Ты помогаешь людям, у которых нет денег на стражу. Я это знаю. Но ты не сыщик. Ты... слушатель. Ты слышишь кусочки. А чтобы раскрыть дело, нужно сложить кусочки вместе. А этого ты не умеешь.

Мистер Астор побледнел. Я видела, как у него сжались челюсти.

— Я умею, — сказал он.

— Ну так сложи, — сказал Крейн. — Сложи, Астор. Ты говоришь — вниз, к реке. Ладно. Кто в этом доме ходит вниз, к реке? Кто может пронести кристалл через кухню и служебную лестницу, не вызвав вопросов? Кто ходит по понедельникам неизвестно куда и приносит на ботинках глину? Сложи. А я пока займусь племянником, у которого в кармане четыре квитанции.

Он повернулся и пошёл к лестнице, увлекая за собой стражника и Огюста. На ходу, не оборачиваясь, бросил:

— Домашним — не покидать дом. Племянника я забираю в участок на допрос. Завтра проверю ломбард. Если найду там Слезу, Астор, — пришлю тебе приглашение на суд. Будешь слушать стены зала заседаний.

Шаги загрохотали по парадной лестнице вниз. Хлопнула входная дверь. Заскрипели колёса. Свисток.

В гостиной стало тихо.

Мистер Астор стоял у стены, всё ещё прижимая к ней ладонь, хотя слушать было уже нечего. Лицо у него было белое, неподвижное, как маска.

— Он прав, — сказал он тихо, не глядя на меня. — Он всегда прав. Я слышу кусочки. Я не умею складывать.

Мне захотелось сказать что-нибудь утешительное. Что-нибудь вроде «он неправ» или «вы умеете». Но я не умею говорить того, во что не верю. Это мой недостаток. Мать говорила, что из-за него у меня никогда не будет подруг.

— Он прав наполовину, — сказала я вместо этого. — Вы слышите кусочки. Это правда. А складывать — это не дар. Это работа. Её можно делать вдвоём.

Мистер Астор медленно повернул голову и посмотрел на меня.

— Вдвоём, — повторил он.

— Вы слушаете. Я записываю. Потом мы смотрим, что получилось. — Я пожала плечами. — Так ведут бухгалтерию в больших конторах. Один считает приход, другой расход. Потом сверяют. Если сходится — хорошо. Если не сходится — ищут ошибку.

— А если не сходится? — спросил он. — Если у меня одно, а у вас другое?

— Значит, кто-то из нас ошибся, — сказала я. — Или оба. Тогда ищем дальше.

Он смотрел на меня ещё несколько секунд. Потом убрал ладонь от стены и выпрямился.

— Хорошо, — сказал он. — Вдвоём. — И добавил, почти весело, с прежней искрой в глазах: — Только Крейну не говорите. Он умрёт от смеха.

— Не скажу, — пообещала я.

Тогда я ещё не знала, что это обещание продержится ровно до той минуты, когда Крейн сам об этом догадается. А догадается он раньше, чем мы оба думали.

3

Мы вернулись на чердак в восьмом часу вечера, когда над каньоном уже поднималась мга.

Я впервые видела её сверху, с самого края, с улицы Соляных Ветров, и остановилась на последней ступени лестницы, держась за канат. Внизу, на дне каньона, река Весер светилась зелёным, как всегда. Но над ней, медленно, тяжело, как тесто в квашне, поднималось что-то розовое. Сначала тонкой полосой у самой воды. Потом шире, гуще. Мга заливала нижние ярусы, стирая очертания крыш и фонарей, подбиралась к средним, обтекала уступы, как вода обтекает камни. Медузы в подвесных фонарях, уже проснувшиеся к вечеру, светили сквозь неё размытыми пятнами, будто звёзды под водой. Звуки снизу — колокольчики фуникулёров, крики торговцев, плеск — становились глуше, глуше, пока не растворились совсем.

На средних ярусах, где я жила, мга была частью вечера: её не замечали, как не замечают сумерки. Сверху она выглядела иначе. Как будто весь город медленно опускали под воду.

— Красиво, — сказала я.

Мистер Астор, поднимавшийся следом, остановился рядом.

— Красиво, — согласился он. — И тихо. В мге ничего не слышно. Для меня — совсем ничего. Она глушит всё: стены, камни, голоса. Когда она поднимается до чердака — а она иногда поднимается, в сырые вечера, — я становлюсь как все. Глухим.

Он сказал это без грусти. Даже с каким-то облегчением.

— Это плохо? — спросила я.

Он подумал.

— Не знаю, — сказал он. — Это как... представьте, что вы всю жизнь носите очень тяжёлое пальто. И однажды вечером его снимают. Легко. Но холодно. И непонятно, кто вы без пальто.

Мы поднялись на чердак. Мадам Пэк, встретив нас в прихожей, сообщила, что господин Лоури поймал мышь и отпустил её на улицу, потому что «вдруг это всё-таки тёща». Мистер Астор сказал, что это очень гуманно. Мадам Пэк сказала, что это очень глупо, потому что мышь вернётся. Они спорили об этом всю лестницу. Я не наступала на седьмую, двенадцатую и тридцатую ступени и думала о красных крошках.

На чердаке было холодно — тепло давали только утром, — и мистер Астор разжёг печку. Печка была маленькая, чугунная, с кривой трубой, выведенной в окно, и топилась углём, который приносили раз в неделю, если угольщику было заплачено. Сегодня угольщику было заплачено, и мистер Астор с видимым удовольствием насыпал в печку полный совок. Через десять минут на чердаке стало почти тепло. Он поставил на горелку свой медный котелок.

Я села за стол, зажгла лампу и разложила свои записи.

Записей за день было много. Слишком много, чтобы держать их в голове, и я сделала то, что всегда делаю, когда цифр слишком много: составила таблицу. Большой лист — оборот счёта от угольщика, который я на этот раз сохранила специально, — разделённый на графы. Слева — имена. Все, кто был в доме Маршей в понедельник вечером: двенадцать гостей, вдова, Бирс, Томас, кухарка, две горничные, четверо музыкантов. Двадцать один человек. Дальше — графы: «Где был во время ноктюрна». «Мог ли подойти к витрине». «Мотив». «Что скрывает». «Куда ходит».

Последнюю графу я придумала только что. Она появилась из-за Бирса, из-за его понедельников и глины. Если Слезу унесли вниз, то кто-то должен был спуститься вниз. А чтобы спуститься вниз и не вызвать вопросов, нужно было иметь привычку туда ходить.

Я начала заполнять.

Это было медленно. Мистер Астор сначала сидел на подоконнике с кружкой, смотрел на мгу и молчал. Потом, видимо, ему стало скучно, и он подошёл и стал смотреть мне через плечо. Он смотрел долго. Потом взял стул, поставил его рядом с моим и сел.

— Что это? — спросил он, показывая на графу «Куда ходит».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.